



Джордж Грот

**История Греции.
Том 3**

Джордж Грот

История Греции. Том 3

«Автор»

2025

Грот Д.

История Греции. Том 3 / Д. Грот — «Автор», 2025

Третий том «Истории Греции» Джорджа Грота посвящён критическому переходному периоду от аристократических режимов к тирании и раннему законодательству. Грот анализирует социально-экономические причины падения родовой олигархии и роль тиранов как демагогов, способствовавших разрушению старых структур. Центральное место занимает детальный разбор реформ Солона в Афинах, которые представлены как компромисс, заложивший основу для будущей демократии. Значительная часть тома охватывает широкий контекст: греческие полисы Малой Азии, возвышение Лидии, взаимодействие с восточными империями, а также основание и расцвет колоний в Сицилии и Южной Италии. Труд выделяется критическим анализом источников и либеральной трактовкой прогресса гражданских институтов.

© Грот Д., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Третий том «История Греции» Джорджа Грота	5
Текущее содержание глав	7
Глава IX. КОРИНФ, СИКИОН И МЕГАРЫ. – ЭПОХА ГРЕЧЕСКИХ ТИРАНОВ.	13
Глава X. ИОНИЙСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЛАДЫ. – АФИНЫ ДО СОЛОНА.	32
Глава XI. СОЛОНОВСКИЕ ЗАКОНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.	47
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Джордж Грот

История Греции. Том 3

Третий том «История Греции» Джорджа Грота

Третий том фундаментального труда Джорджа Грота «История Греции» занимает центральное место в историографии Древней Греции, являясь одним из наиболее полных и аналитически глубоких исследований архаического периода. Грот, представляя либерально-прогрессистское направление британской исторической науки XIX века, дает оценку эпохи, свободную от идеализации, характерной для некоторых его предшественников, и демонстрирует методологический подход, основанный на критическом анализе источников, прежде всего Геродота. Основное содержание тома посвящено так называемой «эпохе греческих деспотов» (тиранов) и раннему законодательству, которое Грот рассматривает как необходимый этап на пути к становлению демократии. Вторая часть тома, «Продолжение исторической Греции», охватывает широкий географический и тематический спектр: от анализа внутреннего развития ключевых полисов материковой Греции (Коринф, Сикион, Мегара, Афины) до подробного описания греческих колоний в Малой Азии, Италии, Сицилии и их взаимодействия с местными народами и великими империями Востока.

В главах, посвященных возникновению тирании (IX), Грот отвергает взгляд, будто тираны были лишь узурпаторами-угнетателями. Он анализирует социально-экономические причины падения родовой аристократии (олигархии Бакхиадов в Коринфе) и показывает, что тираны часто выступали как демагоги, опиравшиеся на недовольные народные массы. Грот подчеркивает, что тирания, несмотря на свой насильственный характер, объективно способствовала разрушению старых аристократических структур, ослаблению родовых связей (как в случае с Клисфеном Сикионским) и подготовила почву для более широких форм гражданского устройства. Он проводит четкое различие между ранней военной монархией и тиранией, отмечая непрочность и неизбежную деградацию власти последней. Особое внимание уделяется могуществу Коринфа при Кипселидах и культурной деятельности тиранов.

Центральное место в томе занимает анализ афинской истории до и во время Солона (X-XI). Грот скрупулезно разбирает родовое устройство древних Афин (филы, фратрии, генсы), показывая его искусственный и политизированный характер, служивший основой власти эвпатридов. Он высоко оценивает фигуру Солона, изображая его мудрым законодателем и противником тирании, действовавшим в интересах гражданского мира. Детально рассматривается знаменитая «сейсахтея» (кассация долгов) – Грот отстаивает ее реальность и историческую необходимость, опровергая скептические трактовки. Его анализ солоновских реформ (тимократия, Совет Четырехсот, права демоса) отличается взвешенностью: Грот доказывает, что Солон заложил основы будущей демократии, но его собственный строй был лишь смягченной олигархией, а истинная демократия началась с Клисфена. Важным методологическим моментом является указание Грота на путаницу в речах афинских ораторов, которые часто приписывали Солону институты более позднего времени.

Значительная часть тома (XII-XXII) посвящена внешнему миру, что отражает новаторский для своего времени подход Грота, рассматривавшего греческую историю в широком международном контексте. Он подробно описывает ионийские, эолийские и дорийские полисы Малой Азии, их внутреннее устройство, культуру и сложные отношения с лидийцами, фригийцами и другими местными народами. Анализируется возвышение Лидии при Гиге, Алиатте и Крезе, подчеркивается историческая важность завоевания Крезом греческих городов, что открыло новую эру для эллинского мира. Грот дает обширные экскурсы в историю и культуру

Ассирии, Вавилона, Египта и Финикии, оценивая их влияние на Грецию в области торговли, технологий (алфавит, монетная система) и знаний. Особое внимание уделено финикийской и греческой колонизации Запада. Детально описаны основание и расцвет греческих колоний в Сицилии (Сиракузы, Агригент) и Южной Италии (Сибарис, Кротон, Тарент), их отношения с местным населением (сикулами, энотрами) и карфагенянами. Грот подчеркивает экономическое могущество и культурное своеобразие «Великой Греции», сыгравшей *crucial role* в развитии всего эллинского мира. Заключительные главы тома посвящены колониям в Эпире (Коркира) и характеристике общественного строя акарнанов и эпиротов, которые Грот описывает как менее развитые, по сравнению с центральной Грецией, племенные общества.

В целом, третий том «Истории Греции» Грота представляет собой монументальный синтез политической, социальной и экономической истории архаического периода. Его оценка тирании как исторически обусловленного явления, глубокий анализ солоновских реформ как компромисса и внимание к роли колониального мира оказали *profound influence* на последующую историографию. Труд Грота остается ценным не только благодаря богатству фактического материала, но и благодаря своей либеральной интерпретации, ставящей в центр прогресс гражданских свобод и политических институтов.

Текущее содержание глав

Часть II. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.

Глава IX. КОРИНФ, СИКИОН И МЕГАРА. – ЭПОХА ГРЕЧЕСКИХ ДЕСПОТОВ.

Ранняя торговля и предприимчивость коринфян. – Олигархия Бакхиадов. – Раннее состояние Мегары. – Раннее состояние Сикиона. – Возникновение деспотов. – Первые изменения в государственном устройстве Греции. – Особенность Спарты. – Прекращение царской власти в большинстве греческих государств. – Сравнение с европейским Средневековьем. – Антимонархические настроения в Греции – Мистер Митфорд. – Причины, способствовавшие развитию этих настроений. – Переход к олигархическому правлению. – Такой переход свидетельствует о прогрессе греческого сознания. – Недовольство олигархиями – способы, которыми деспоты приходили к власти. – Примеры. – Тенденция к более организованному гражданскому устройству. – Характер и деятельность деспотов. – Демагог-деспот раннего времени в сравнении с демагогом более поздних эпох. – Контраст между деспотом и ранним героическим царем. – Положение деспота. – Невозможность для него хорошего правления. – Борьба между олигархией и деспотией предшествовала борьбе между олигархией и демократией. – Ранние олигархии включали множество различных групп и объединений. – Правление Геоморов – замкнутый класс нынешних или бывших землевладельцев. – Классы населения. – Военная сила ранних олигархий состояла из конницы. – Появление тяжеловооруженной пехоты и свободного военного флота – оба фактора неблагоприятны для олигархии. – Дорийские государства – дорийское и недорийское население. – Династия деспотов в Сикионе – Орфагориды. – Насильственные действия Клизфена. – Классы населения Сикиона. – Падение Орфагоридов – состояние Сикиона после этого. – Сикионские деспоты не были свергнуты Спартой. – Деспоты в Коринфе – Кипсел. – Периандр. – Могущество Коринфа при Периандре. – Падение династии Кипселидов. – Мегара – деспот Феаген. – Нестабильное правление в Мегаре – поэт Феогнид. – Аналогия между Коринфом, Сикионом и Мегарой.

Глава X. ИОНИЙСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЛАДЫ. – АФИНЫ ДО СОЛОНА.

История Афин до Драконта – лишь перечень имен. – После Кодра царей не было. – Пожизненные архонты. – Десятилетние архонты. – Годичные архонты, девять человек. – Архонтство Креона. 683 г. до н. э. – начало аттической хронологии. – Неясность гражданского состояния Аттики до Солон. – Предполагаемое двенадцатеричное деление Аттики в древние времена. – Четыре ионийских филы: Гелеонты, Гоплиты, Эгикореи, Аргадеи. – Эти названия не являются обозначениями каст или профессий. – Составные части четырех фил. – Триттия и наукрария. – Фратрия и генс. – Что составляло генс или родовую общину. – Искусственное расширение первоначальной семейной ассоциации. – Слияние представлений о культе и происхождении. – Вера в общего божественного предка. – Это происхождение было вымышленным, но все же признавалось. – Аналогии у других народов. – Римские и греческие роды. – Права и обязанности родовых и фратрических братьев. – Генс и фратрия после реформы Клизфена стали внеполитическими. – Первоначально в Афинах существовало множество отдельных политических общин. – Тесей. – Длительное сохранение кантонального сознания. – Какие демы изначально были независимы от Афин. – Элевсин. – Эвпатриды, Геоморы и Демиурги. – Эвпатриды изначально обладали всей политической властью. – Ареопаг. – Девять архонтов – их функции. – Драконт и его законы. – Разные суды по делам об убийстве в Афинах. – Постановления Драконта об эфетах. – Местные суеверия в Афинах относительно суда за убийство. – Попытка узурпации Килоном. – Его провал и резня его сторонников по приказу Алкмеонидов. – Суд и осуждение Алкмеонидов. – Чума и бедствия в Афинах. – Мистические секты и братства в VI веке до н. э. – Эпименид Критский. – Эпименид посещает Афины и очищает город. – Его жизнь и характер. – Контраст его эпохи с эпохой Платона.

Глава XI. СОЛОНОВСКИЕ ЗАКОНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.

Жизнь, характер и поэзия Солон. – Война между Афинами и Мегарой из-за Саламина. – Приобретение Саламина Афинами. – Разрешение спора спартанским арбитражем в пользу Афин. – Состояние Афин непосредственно перед законодательством Солон. – Внутренние раздоры – бедственное положение бедного населения. – Долговое рабство – закон о должниках и кредиторах. – Несправедливость и алчность богатых. – Всеобщее восстание и необходимость масштабных реформ. – Солон становится архонтом и получает полномочия для законодательства. – Он отказывается стать тираном. – Его сейсахтея, или закон об облегчении положения бедных должников. – Понижение денежного стандарта. – Общая популярность меры после первоначального недовольства. – Различные позднейшие толкования относительно сути и масштабов сейсахтеи. – Необходимость этой меры – пагубные договоры, порожденные прежним законом. – Закон Солон окончательно урегулировал вопрос – впоследствии не было жалоб на частные долги – уважение к [р. vii] договорам сохранилось при демократии. – Различие, проводимое в древнем обществе между основным долгом и процентами по займу – проценты осуждались в принципе. – Это мнение сохранялось у философов, даже когда перестало быть общепринятым. – Сейсахтея Солон не имела аналогов в Афинах – впоследствии денежный стандарт честно соблюдался. – Солон получает полномочия изменить политическое устройство. – Его имущественный ценз – четыре разряда собственности. – Градуированная ответственность по подоходному налогу для трех богатейших классов в сравнении друг с другом. – Распределение политических прав и привилегий согласно этому цензу – тимократия. – Четвертый, беднейший класс – обладал правами только в народном собрании – избирал магистратов и привлекал их к отчету. – Предварительный (пробулевтический) Совет Четырехсот. – Ареопаг – расширение его полномочий. – Частая путаница между солоновскими и послесолоновскими институтами. – Неточные формулировки афинских ораторов по этому поводу. – Солон не предусматривал будущих изменений или пересмотра своих законов. – Солон заложил основы афинской демократии, но его институты не были демократическими. – Истинная афинская демократия начинается с Клисфена. – После Солон афинское правление оставалось олигархическим, но смягченным. – Архонты по-прежнему оставались судьями вплоть до эпохи Клисфена. – Последующие изменения в афинском государственном устройстве игнорировались ораторами, но понимались Аристотелем и остро ощущались в Афинах во времена Перикла. – Роды и фратрии в солоновском устройстве – статус лиц, не входивших в них. – Законы Солон. – Драконтовы законы об убийствах сохранены, остальные отменены. – Многообразие законов Солон: отсутствие видимой систематизации. – Он запрещает вывоз сельскохозяйственной продукции из Аттики, кроме оливкового масла. – Запрет имел незначительный эффект или вовсе не действовал. – Поощрение ремесленников и промышленности. – Право завещания – впервые узаконено Солоном. – Законы, касающиеся женщин. – Правила о погребениях. – О злословии и оскорбительной речи. – Награды победителям на священных играх. – Кража. – Осуждение Солоном граждан, остающихся нейтральными во время мятежа. – Необходимость при греческих городских правлениях активной гражданской позиции. – Контраст в этом отношении между эпохой Солон и последующей демократией. – Та же идея прослеживается в позднейшем остракизме. – Отношение Солон к гомеровским поэмам и драме. – Трудности Солон после принятия законов. – Он покидает Аттику. – Посещает Египет и Кипр. – Легендарная встреча и беседа Солон с Крезом в Сардах. – Нравственный урок, вытекающий из этого рассказа. – Состояние Аттики после солоновского законодательства. – Возвращение Солон в Афины. – Возвышение Писистрата. – Его знаменитая хитрость для получения стражи от народа. – Писистрат захватывает Акрополь и становится тираном – мужественное сопротивление Солон. – Смерть Солон – его характер. – Приложение о процедуре римского права в отношении основного долга и процентов по денежному займу.

Глава XII. ЭВБЕЯ. – КИКЛАДЫ.

Острова, называемые Кикладами. – Эвбея. – Её шесть или семь городов – Халкида, Эретрия и др. – Их заселение. – Раннее могущество Халкиды, Эретрии, Наксоса [р. viii] и др. – Ранний ионийский праздник на Делосе; многолюдный и богатый. – Его упадок около 560 г. до н. э. – причины этого. – Гомеровский гимн Делосскому Аполлону – свидетельства о ранней ионийской жизни. – Война между Халкидой и Эретрией в древние времена – обширные союзы каждой. – Торговля и колонии Халкиды и Эретрии – эвбейская система денег и мер веса. – Три различные греческие системы – эгинская, эвбейская и аттическая – их соотношение.

Глава XIII. МАЛОАЗИАТСКИЕ ИОНИАНЕ.

Двенадцать ионийских городов в Азии. – Легендарное событие, называемое Ионийским переселением. – Переселенцы в эти города – разнородные греки. – Значительные различия в диалектах среди двенадцати городов. – Ионийские города фактически основаны разными переселениями. – Последствия смешения населения в этих колониях – большая активность – большая нестабильность. – Подвижность, приписываемая ионийской расе в сравнении с дорийской – проистекает из этой причины. – Ионийские города в Азии – смешаны с местными жителями. – Культ Аполлона и Артемиды – существовал на азиатском побережье до прихода греческих переселенцев – принят ими. – Общеионийский праздник и амфиктиония на мысе Микале. – Положение Милета – других ионийских городов. – Территории, перемежающиеся с азиатскими деревнями. – Магнесия на Меандре – Магнесия у горы Сипил. – Эфес – Андрокул как ойкист – первоначальное поселение и распределение. – Рост и приобретение Эфеса. – Колофон, его происхождение и история. – Храм Аполлона в Кларосе близ Колофона – его легенды. – Лебед, Теос, Клазомены и др. – Внутреннее устройство жителей Теоса. – Эрифры и Хиос. – Клазомены – Фокея. – Смирна.

Глава XIV. ЭОЛИЙСКИЕ ГРЕКИ В АЗИИ.

Двенадцать городов эолийских греков. – Их расположение – одиннадцать близко друг к другу на Эгейском заливе. – Легендарное эолийское переселение. – Кима – древнейший и самый могущественный из двенадцати. – Магнесия у Сипила. – Лесбос. – Ранние обитатели Лесбоса до эолийцев. – Эолийские поселения в районе горы Ида. – Континентальные колонии Лесбоса и Тенедоса. – Догреческое население в районе горы Ида – мисийцы и тевкры. – Тевкры из Гергиса. – Митилена – её политические раздоры – её поэты. – Сила и заслуги Питтака. – Поэт Алкей – его бегство с поля боя. – Ожесточённая борьба Питтака и Алкея во внутренней политике. – Питтак становится эсимнетом, или диктатором Митилены.

Глава XV. АЗИАТСКИЕ ДОРИЙЦЫ.

Азиатские дорийцы – их Гексаполис. – Другие дорийцы, не входящие в Гексаполис. – Исключение Галикарнасса из Гексаполиса.

Глава XVI. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ МАЛОЙ АЗИИ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАЛИСЬ ГРЕКИ.

Коренные народы Малой Азии – гомеровская география. – Особенности страны. – Названия и расположение различных народов. – Первоначально не объединены в крупные царства или города. – Река Галис – этнографическая граница – сиро-арабы к востоку от неё. – Фракийцы – на севере Малой Азии. – Этническое родство и миграции. – Частичное сходство легенд. – Фригийцы. – Их влияние на ранних греческих колонистов. – Греческая музыкальная гамма – частично заимствована у фригийцев. – Фригийская музыка и культ у греков Малой Азии. – Характер фригийцев, лидийцев и мисийцев. – Первоначальный фригийский царь или герой Гордий – Мидас.

Глава XVII. ЛИДИЙЦЫ. МИДИЙЦЫ. КИММЕРИЙЦЫ. СКИФЫ.

Лидийцы – их музыка и инструменты. – Они и их столица Сарды неизвестны Гомеру. – Ранние лидийские цари. – Кандаул и Гиг. – Династия Мермнадов сменяет Гераклидов. – Легенда о Гиге у Платона. – Женское влияние в легендах Малой Азии. – Разделение Лидии на две части – Лидию и Торребию. – Действия Гига. – Его сын и преемник Ардис. – Асси-

рийцы и мидийцы. – Первый мидийский царь – Дейок. – Его история составлена из греческих, а не восточных материалов. – Фраорт – Киаксар. – Осада Ниневии – вторжение скифов и киммерийцев. – Киммерийцы. – Скифы. – Греческие поселения на побережье Эвксина. – Скифия по описанию Геродота. – Племена скифов. – Обычаи и культ. – Скифы грозны числом и отвагой. – Сарматы. – Племена к востоку и северу от Меотиды. – Тавры в Крыму – массагеты. – Вторжение скифов и киммерийцев в Азию. – Киммерийцы изгнаны из своей страны скифами. – Трудности в повествовании Геродота. – Киммерийцы в Малой Азии. – Скифы в Верхней Азии. – Изгнание этих кочевников после временного завоевания. – Лидийские цари Садият и Алиатт – война против Милета. – Святотатство Алиатта – оракул – он заключает мир с Милетом. – Долгое правление – смерть – и гробница Алиатта. – Крёз. – Он нападает и покоряет малоазийских греков. – Отсутствие сотрудничества среди [стр. x] ионийских городов. – Бесплезное предложение Фалеса – объединить двенадцать ионийских городов в один Панионийский город в Теосе. – Захват Эфеса. – Крёз становится царём всей Азии к западу от Галиса. – Новая и важная эра для эллинского мира – начинающаяся с завоеваний Крёза. – Влияние Лидийской империи продолжается в ещё большем масштабе персами.

Глава XVIII. ФИНИКИЙЦЫ.

Финикийцы и ассирийцы – представители семитской семьи человечества. – Раннее присутствие финикийских кораблей в греческих морях – во времена Гомера. – Расположение и города Финикии. – Финикийская торговля процветала больше в ранние, чем в поздние времена Греции. – Финикийские колонии – Утика, Карфаген, Гадес и др. – Торговля финикийцев Гадеса – с одной стороны в Африку, с другой – в Британию. – Плодородный регион вокруг Гадеса, называемый Тартесс. – Финикийцы и карфагеняне – владения последних сочетали имперские амбиции с торговлей. – Финикийцы и греки в Сицилии и на Кипре – последние частично вытесняют первых. – Иберия и Тартесс – не посещались греками до примерно 630 г. до н. э. – Знаменитое плавание самосца Колея в Тартесс. – Исследовательские путешествия фокейцев между 630–570 гг. до н. э. – Важное дополнение к греческим географическим знаниям и стимул для греческой фантазии. – Плавание финикийцев вокруг Африки. – Это плавание действительно состоялось – сомнения критиков, древних и современных, рассмотрены. – Караванная торговля финикийцев по суше.

Глава XIX. АССИРИЙЦЫ. ВАВИЛОН.

Ассирийцы – их имя связано в основном с Ниневией и Вавилоном. – Халдеи в Вавилоне – жрецеское сословие. – Их астрономические наблюдения. – Вавилония – её трудоёмкое земледелие и плодородие. – Город Вавилон – его размеры и стены. – Вавилон – известен только в период своего упадка – но даже тогда первый город в Западной Азии. – Огромные ресурсы человеческого труда у вавилонских царей. – Коллективная цивилизация в Азии без индивидуальной свободы или развития. – Постепенный контраст между египтянами, ассирийцами, финикийцами и греками. – Пустыни и разбойничьи племена вокруг Вавилона. – Приложение: «Ниневия и её остатки» г-на Лэйарда.

Глава XX. ЕГИПТЯНЕ.

Финикийцы – связующее звено торговли между Египтом и Ассирией. – Геродот – первый греческий источник о Египте. – Нил во времена [стр. xi] Геродота. – Фивы и Верхний Египет – более важны в древние времена, чем Нижний Египет, но не во времена Геродота. – Египетские касты или наследственные профессии. – Жрецы. – Военное сословие. – Разные мнения о кастах. – Большое городское население Египта. – Глубокое подчинение народа. – Разрушительный труд, навязанный великими монументами. – Поклонение животным. – Египетские цари – из разных частей страны. – Отношения Египта с Ассирией. – История Египта неизвестна до Псамметиха. – Первое появление греков в Египте при Псамметихе – связанные с этим истории. – Важность греческих наёмников для египетских царей – каста переводчиков. – Открытие Канопского рукава Нила для греческой торговли – греческое поселение в Навкра-

тисе. – Недовольство и мятеж египетского военного сословия. – Нехо, сын Псамметиха – его активные действия. – Поражение от Навуходоносора при Кархемише. – Псаммис, сын Нехо. – Априй. – Амасис – свержает Априя с помощью местных солдат. – Он поощряет греческую торговлю. – Важная фактория и религиозное учреждение для греков в Навкратисе. – Процветание Египта при Амасисе. – Приложение: о египетской хронологии, данной Манефоном, в изложении М. Бёка.

Глава XXI. УПАДОК ФИНИКИЯН. – РАСЦВЕТ КАРФАГЕНА.

Упадок финикиян – рост греческого флота и торговли. – Влияние финикиян, ассирийцев и египтян на греческое сознание. – Алфавит. – Система денег и веса. – Гномон – и деление дня. – Карфаген. – Эра Карфагена. – Владычество Карфагена. – Дидона. – Первое известное столкновение греков и карфагенян – Массалия. – Дружественные отношения между Тиром и Карфагеном.

Глава XXII. ЗАПАДНЫЕ КОЛОНИИ ГРЕЦИИ – В ЭПИРЕ, ИТАЛИИ, СИЦИЛИИ И ГАЛЛИИ.

Ранняя недостоверная эмиграция из Греции. – Догреческое население Сицилии – сикулы – сиканы – элимцы – финикияне. – Энотрия – Италия. – Пеласги в Италии. – Латины – энотры – эпироты – этническая близость. – Языковые параллели – греческий, латинский и оскский. – Греческая колонизация Сицилии с установленной датой – начинается в [735 г. до н. э.]. – Кумы в Кампании – основаны раньше – точная дата неизвестна. – Расцвет Кум между [700–500 гг. до н. э.]. – Упадок Кум после [500 г. до н. э.]. – Революция – тирания Аристодема. – Нашествие на Кумы этрусков и самнитов из внутренних областей. – Быстрое умножение греческих колоний в Сицилии и Италии, начиная с [735 г. до н. э.]. – Основание Наксоса в Сицилии Феоклом. – Место, где греки впервые высадились в Сицилии – впоследствии почиталось. – Догреческое распределение Сицилии. – Основание Сиракуз. – Леонтины и Катана. – Мегара в Сицилии. – Гела. – Занкла, позднее Мессена (Мессина). – Дочерние колонии – Акры, Касмены, Камарина и др. – Агригент, Селинунт, Гимера и др. – Процветание сицилийских греков. – Смешанный характер населения. – Особенности денежной и весовой системы у сицилийских и итальянских [р. xii] греков. – Сикулы и сиканы постепенно эллинизируются. – Различия между греками в Сицилии и в собственно Греции. – Местное население Сицилии недостаточно многочисленно, чтобы угрожать греческим поселенцам. – Сикульский князь Дукетий. – Греческие колонии в Южной Италии. – Местное население и территория. – Сибарис и Кротон. – Территория и колонии Сибариса и Кротона. – Эпизефирские Локры. – Первые поселенцы Локр – их характер и обстоятельства. – Предательство по отношению к коренным сикулам. – Смешение с сикулами на их территории – усвоение сикульских обычаев. – Локрийский законодатель Залевк. – Строгость его законов – управление в Локрах. – Регий. – Халкидские поселения в Италии и Сицилии – Регий, Занкла, Наксос, Катана, Леонтины. – Кавлония и Скиллетиум. – Сирус или Гераклея. – Метапонтий. – Тарент – обстоятельства его основания. – Парфений – Фалант, ойкист. – Положение и территория Тарента. – Япиги. – Мессапы. – Процветание итальянских греков между [700–500 гг. до н. э.]. – Преобладание над энотским населением. – Кротон и Сибарис – на пике могущества с [560–510 гг. до н. э.]. – Сибариты – их роскошь – их организация, промышленность и могущество. – Греческий мир около [560 г. до н. э.]. – Ионийские и итальянские греки тогда наиболее заметны среди греков. – Последствия падения Сибариса. – Кротонцы – их здоровье, сила, успехи на Олимпийских играх и пр. – Массалия.

Глава XXIII. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ В ЭПИРЕ И ПОБЛИЗОСТИ.

Коркира. – Раннее основание Керкиры Коринфом. – Отношения Керкиры с Коринфом. – Отношения с Эпиром. – Амбракия, основанная Коринфом. – Совместные поселения Коринфа и Керкиры. – Левкада и Анакторий. – Аполлония и Эпидамн. – Взаимоотношения между этими колониями – Торговля.

Глава XXIV. АКАРНАНЫ. – ЭПИРОТЫ.

Акарнаны. – Их общественное и политическое состояние. – Эпироты – включают разные племена, с малой или отсутствующей этнической связью. – Некоторые из этих племён этнически связаны с племенами Южной Италии; – другие – с македонянами – невозможно провести границы. – Территория разделена на деревни – крупных городов нет. – Побережье Эпира не способствовало греческой колонизации. – Некоторые эфирские племена управлялись царями, другие – нет.

Часть II. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ.

Глава IX. КОРИНФ, СИКИОН И МЕГАРЫ. – ЭПОХА ГРЕЧЕСКИХ ТИРАНОВ.

Предыдущий том довел историю Спарты до периода, отмеченного правлением Писистрата в Афинах; к этому времени она достигла максимального расширения своей территории, была общепризнанно самым могущественным государством Греции и пользовалась соответствующим уважением остальных эллинов. Теперь я перехожу к рассмотрению трех дорийских городов на Истме и вблизи него – Коринфа, Сикиона и Мегар, какими они существовали в тот же период.

Даже среди скудных дошедших до нас сведений мы находим свидетельства значительной морской активности и торговли коринфян уже в VIII веке до н. э. Основание Керкиры и Сиракуз в 11-ю Олимпиаду, или в 734 году до н. э. (о чем я подробнее расскажу в связи с греческой колонизацией в целом), экспедициями из Коринфа служит хорошим доказательством того, что они умели извлекать выгоду из своего выгодного положения, связывавшего их с морем по обе стороны Пелопоннеса. Фукидид, [1] отмечая их как главных освободителей моря от пиратов в древние времена, также [р. 2] сообщает нам, что первое значительное усовершенствование в кораблестроении – создание триремы, или военного корабля с полной палубой и тройными рядами гребцов, – было плодом коринфской изобретательности. В 703 году до н. э. коринфянин Амейнокл построил четыре триремы для самосцев – первые, которые когда-либо были у этих островитян. Упоминание этого факта свидетельствует как о важности, придававшейся новому изобретению, так и о скромных масштабах военно-морских сил в те ранние времена. И не менее значимым доказательством морской мощи Коринфа в VII веке до н. э. является тот факт, что первое известное Фукидиду морское сражение произошло между коринфянами и керкирянами в 664 году до н. э. [2]

Как уже упоминалось в предыдущем томе, линия Гераклидских царей в Коринфе постепенно угасает, превращаясь в олигархию, именуемую Бакхиадами, при которых начинаются наши первые исторические сведения о городе. Эти лица считались потомками Геракла и составляли правящую касту в городе, обычно вступая в браки между собой и выбирая из своей среды ежегодного притана, или правителя, для управления делами. Об их внутреннем управлении у нас нет сведений, за исключением рассказа об Архии, основателе Сиракуз, [3] одном из их числа, который настолько навлек на себя ненависть актом жестокого насилия, закончившегося смертью прекрасного юноши Актеона, что был вынужден покинуть родину. То, что такой человек был поставлен на высокий пост ойкиста колонии Сиракузы, не дает благоприятного представления о Бакхиадской олигархии. Впрочем, мы не знаем, на каком первоисточнике основан этот рассказ и можно ли быть уверенным в его точности. Но Коринф под их управлением уже был мощным торговым и морским городом, как уже упоминалось.

Мегары, последнее дорийское государство в этом направлении на восток, граничащее с Атикой в том месте, где горы Керата спускаются к Элевсину и Фриасийской равнине, утверждают, что были первоначально заселены дорийцами из Коринфа и долгое время оставались зависимыми от этого города. Далее говорится, что сначала это было лишь одно из пяти отдельных поселений – Мегары, Герая, Пирая, Киноскура, Триподиск, – населенных родственными племенами и обычно находившихся в дружеских отношениях, но иногда раздираемых ссорами, во время которых они вели войны с такой степенью снисходительности и рыцарской уверенности, что опровергает поговорку о кровожадности вражды между сородичами. Оба этих утверждения передаются нам (мы не знаем из какого первоисточника) как объяснение некоторых распространенных выражений. [4] Автор последнего не мог согласиться с автором первого в том, что коринфяне были властителями Мегариды, поскольку он изображает их как

подстрекателей войн между этими пятью поселениями с целью завладения этой территорией. Какими бы ни были истинные факты относительно этого предполагаемого раннего подчинения Мегар, мы знаем, [5] что в историческую эпоху, уже к 14-й Олимпиаде, это был независимый дорийский город, [р. 4] сохранявший целостность своей территории под предводительством Орсиппа, знаменитого олимпийского бегуна, против некоторых могущественных врагов, вероятно, коринфян. Он был немаловажным, владея территорией, простиравшейся через гору Геранию до Коринфского залива, где находился укрепленный город и порт Пеги, принадлежавший мегарцам; он был метрополией ранних и отдаленных колоний и в состоянии во времена Солона вести затяжной конфликт с афинянами за обладание Саламином, в котором, хотя последние в конце концов одержали победу, это не обошлось без периода неудач и отчаяния.

О ранней истории Сикиона, от периода его заселения дорийцами до VII века до н. э., мы ничего не знаем. Наши первые сведения о нем касаются установления тирании Орфагора около 680–670 годов до н. э. И стоит отметить, что все три вышеупомянутых города – Коринф, Сикион и Мегары – в течение этого же века претерпели аналогичную смену правления. В каждом из них утвердился тиран: Орфагор в Сикионе, Кипсел в Коринфе, Феаген в Мегарах.

К сожалению, у нас слишком мало свидетельств о состоянии дел, которым предшествовала и которое вызвала эта смена правительства, чтобы можно было полностью оценить ее значение. Но особенно привлекает наше внимание то, что аналогичное явление, по-видимому, происходило одновременно в большом числе городов – континентальных, островных и колониальных – во многих частях греческого мира.

Период между 650 и 500 гг. до н.э. стал временем возвышения и падения многих тиранов и тиранических династий, каждая – в своем отдельном городе. В последующий промежуток между 500 и 350 гг. до н.э. новые тираны, хотя и появлялись иногда, становились реже; политическая борьба принимает иной оборот, и вопрос ставится прямо и открыто между большинством и меньшинством – народом и олигархией.

Но в более поздние времена, последовавшие за битвой при Херонее, по мере того как Греция, утрачивая как гражданский, так и воинский дух, вынуждена прибегать к постоянному использованию наемных войск и унижена всесильным вмешательством иностранцев, – тиран с его постоянной иностранной телохранительной стражей вновь становится характерной чертой эпохи. Эта тенденция была частично подавлена, но так и не полностью преодолена Аратом и Ахейским союзом в III веке до н.э.

Было бы поучительно, если бы у нас сохранились достоверные записи о этих сменах правительств в некоторых из наиболее значительных греческих городов; но за отсутствием таких свидетельств мы можем лишь собрать краткие высказывания Аристотеля и других авторов о причинах, их вызвавших. Поскольку подобная смена власти была общей, примерно в одно и то же время, для городов, весьма различающихся по местоположению, составу населения, вкусам, привычкам и богатству, она отчасти должна была зависеть от некоторых общих причин, которые могут быть указаны и объяснены.

В предыдущем томе я попытался прояснить героическое правление в Греции, насколько оно может быть познано из эпических поэм, – правление, основанное (если можно употребить современную терминологию) на божественном праве в противоположность народному суверенитету, но требовавшее, как существенное условие, чтобы царь обладал силой, как телесной, так и душевной, достойной высокого рода, к которому он принадлежал. [6] В этом правлении вся власть, пронизывающая общество, сосредоточена в царе; но в важных случаях она осуществляется через формы публичности: он совещается и даже дискутирует с советом вождей или старейшин, – затем сообщает о результатах этих совещаний собравшейся агоре, – которая слушает и одобряет, а может быть, слушает и ропщет, но не имеет права выбора или отвержения.

Описывая Ликурову систему, я отметил, что древние примитивные Ретры, или хартии соглашения, указывали на существование тех же элементов: царь сверхчеловеческого происхождения (в данном случае два координированных царя), – сенат из двадцати восьми старейшин, помимо царей, заседавших в нём, – и еkkлeсия, или народное собрание граждан, созывавшееся для одобрения или отклонения предложений, представленных на их рассмотрение, с весьма ограниченной или вовсе отсутствующей свободой обсуждения.

Таким образом, элементы героического правления в Греции оказываются в основе теми же, что и в примитивной Ликуровой конституции: в обоих случаях преобладающая сила принадлежит царям, – а функции сената, и тем более народного собрания, остаются сравнительно узкими и ограниченными; в обоих случаях царская власть поддерживается определённым религиозным чувством, которое стремилось исключить соперничество и обеспечить подчинение народа до известной степени, несмотря на проступки или недостатки правящего лица.

Среди главных эпиротских племён этот строй сохранялся вплоть до III века до н. э. [7], хотя некоторые из них уже вышли из него и имели обыкновение ежегодно избирать правителя из рода, к которому принадлежал царь.

Исходя из этих черт, общих для героического правления Греции и первоначальной Ликуровой системы, мы видим, что в греческих городах вообще царь заменяется олигархией, состоящей из ограниченного числа семейств, – тогда как в Спарте царская власть, хотя и сильно урезанная, никогда не упраздняется. И различный ход событий в Спарте отчасти может быть объяснён.

Так случилось, что в течение пятисот лет ни одна из двух координированных линий спартанских царей не оставалась без мужских потомков, так что чувство божественного права, на котором основывалось их превосходство, всегда текло непрерывным руслом. Это чувство никогда полностью не угасало в упорном сознании Спарты, но оно ослабело настолько, что вызвало потребность в гарантиях против злоупотреблений.

Если бы сенат был более многочисленным органом, состоящим из нескольких знатных семейств и включающим людей всех возрастов, он, возможно, расширил бы свои полномочия настолько, чтобы поглотить царские. Но совет двадцати восьми глубоких стариков, избираемых без разбора из всех спартанских семей, по сути был лишь вспомогательной и второстепенной силой. Он был недостаточен даже как ограничитель царя, – и ещё менее способен стать его соперником; более того, он даже косвенно поддерживал царя, предотвращая формирование какого-либо иного привилегированного сословия, достаточно могущественного, чтобы превзойти его власть.

Эта недостаточность сената стала одной из причин создания ежегодно обновляемого Совета Пяти, называемого эфорами; первоначально – защитного института, подобного римским трибунам, предназначенного для сдерживания злоупотреблений царской власти, но впоследствии разросшегося в верховный и [стр. 7] безотчётный Исполнительный Директорат.

Пользуясь бесконечными раздорами между двумя координированными царями, эфоры постепенно урезывали их власть со всех сторон, ограничивали определёнными специальными функциями и даже сделали их подотчётными и подверженными наказанию, но никогда не стремились упразднить их достоинство.

То, что царская власть потеряла в объёме (по справедливому замечанию царя Феопомпа) [8], она приобрела в долговечности: потомки близнецов Эврисфена и Прокла продолжали владеть своим двойным скипетром с древнейших исторических времён вплоть до революций Агиса Третьего и Клеомена Третьего, – оставаясь военачальниками, становясь всё богаче и богаче, почитаемые и влиятельные в государстве, хотя директорат эфоров стоял выше них.

А эфоры со временем стали столь же деспотичны во внутренних делах, какими когда-то могли быть цари; ибо спартанский ум, глубоко проникнутый чувствами повеления и повиновения, оставался сравнительно невосприимчив к идеям контроля и ответственности и даже

враждебен к открытому обсуждению и критике государственных мер или должностных лиц, которые эти идеи подразумевают.

Не следует забывать, что спартанский политический строй был упрощён по своему характеру и облегчён в функционировании всеобъемлющим действием Ликурговой дисциплины, с её суровым равным давлением на богатых и бедных, что устраняло многие причины, в других местах порождавшие мятежи, – приучая самых гордых и строптивых граждан к жизни беспрекословного повиновения, – удовлетворяя существовавший спрос на систему и порядок, – делая личные привычки спартанцев гораздо более равными, чем даже в демократических Афинах; но в то же время способствуя презрению к болтунам и отвращению к методичной и продолжительной речи, что само по себе исключало всякое регулярное вмешательство гражданской массы как в политические, так и в судебные дела.

Вот каково было положение вещей в Спарте; но в остальной Греции первобытное героическое правление видоизменилось совершенно иным образом: народ гораздо решительнее перерос то чувство божественного права и личного почтения, которое изначально давало власть царю. Со стороны [стр. 8] народа, и еще более со стороны подчиненных вождей, прекратилась добровольная покорность, а вместе с ней исчезла и героическая царская власть. Требовалось нечто вроде системы или конституции.

Главной причиной этого повсеместного исчезновения царской власти в политическом развитии Эллады, несомненно, была малочисленность и компактное расселение каждого отдельного эллинского общества. Единый, пожизненный и никому не подотчетный правитель вовсе не был необходим для поддержания единства. В современной Европе, в большинстве случаев, различные политические общества, возникшие после распада Римской империи, охватывали значительное население и обширную территорию, и монархическая форма представлялась единственным известным средством объединения частей, единственным видимым и внушительным символом национальной идентичности. Как воинственный характер тевтонских завоевателей, так и традиции раздробленной ими Римской империи способствовали установлению монархического правления, упразднение которого считалось бы – и действительно было бы – равносильно распаду нации, поскольку поддержание коллективного единства через общие собрания было столь обременительно, что даже короли тщетно пытались навязать его силой, а представительное правление тогда еще не было известно.

История Средних веков, хотя и демонстрирует постоянное сопротивление со стороны могущественных подданных, частые свержения отдельных королей и occasional смены династий, содержит мало примеров попыток сохранить крупное политическое объединение без царя, будь то наследственного или выборного. Еще в конце XVIII века, в период формирования федеральной конституции Соединенных Штатов Америки, многие мыслители считали [9] невозможным применение любой иной системы, кроме монархической, к территории с большим размером и населением, чтобы сочетать единство целого [стр. 9] с равными правами и гарантиями для каждой из частей. И это, возможно, действительно было бы невозможно среди любого неразвитого народа с сильными местными особенностями, затрудненными средствами коммуникации и отсутствием привычки к представительному правлению.

Таким образом, во всех крупных нациях средневековой и современной Европы, за немногими исключениями, преобладающие настроения были благоприятны для монархии; но там, где отдельный город, район или группа деревень – будь то на равнинах Ломбардии или в горах Швейцарии – обретали независимость, там, где малая часть отделялась от целого, возникали противоположные настроения, и естественной тенденцией становилось установление той или иной формы республиканского правления; [10] из которого, как и в Греции, часто рождался деспот, но всегда вследствие какого-то насильственного и обманного смещения.

Феодальная система, сложившаяся в беспорядочном состоянии Европы между XI и XIII веками, всегда предполагала постоянного сюзерена, наделенного обширными правами сме-

шанного личного и собственнического характера над своими [стр. 10] вассалами, хотя и связанного определенными обязательствами перед ними. Непосредственные вассалы короля имели своих подчиненных вассалов, с которыми они состояли в таких же отношениях; и в этой иерархии [11] власти, собственности и территории, слитых воедино, права главы – будь то король, герцог или барон – всегда воспринимались как нечто отдельное, не предоставленное изначально даром и не отменяемое по воле тех, над кем они осуществлялись.

Этот взгляд на сущность политической власти был точкой, в которой сходились три великих элемента современного европейского общества – тевтонский, римский и христианский, хотя каждый по-своему и с разными видоизменениями; и результатом стало множество попыток подданных достичь компромисса со своим правителем без какой-либо идеи заменить его делегированной исполнительной властью.

В отдельных точках этих феодальных монархий постепенно выросли города с сосредоточенным населением, среди которых наблюдалось примечательное сочетание республиканских настроений, требовавших коллективного и ответственного управления в местных делах, с необходимостью единства и подчинения более крупному монархическому целому. Так возникла новая сила, способствовавшая как сохранению формы, так и предопределению хода королевского правления. [12]

И на практике оказалось возможным достичь этой последней цели – сочетать монархическое правление с устойчивостью управления, равным законом, беспристрастно исполняемым, защитой личности и собственности, а также свободой обсуждения в рамках представительных форм – в такой степени, которую мудрейший древний грек считал бы безнадежной. [13]

Такое улучшение в практическом функционировании этого вида правления (всегда в сравнении с царями древности – Сирии, Египта, Иудеи, греческих городов и Рима), вместе с усилением влияния установленных порядков и большей устойчивостью всех институтов и верований, однажды утвердившихся на обширных территориях и среди народов, привело к тому, что монархические настроения оставались преобладающими в европейском сознании – хотя и не без энергичных occasional возражений – на протяжении возросших знаний и расширенного политического опыта последних двух столетий.

Важно показать, что монархические институты и монархические тенденции, распространенные в средневековой и современной Европе, были порождены и поддерживались причинами, свойственными именно этим обществам, тогда как в эллинских обществах такие причины отсутствовали, – чтобы мы могли подходить к эллинским явлениям с правильным настроением и беспристрастно оценивать всеобщее среди греков отношение к идее царя. Первоначальное чувство, питаемое к героическому царю, исчезло [стр. 12], превратившись сначала в равнодушие, а затем – после опыта с тиранами – в решительную антипатию.

Для такого историка, как мистер Митфорд, проникнутого английскими представлениями о государственном управлении, это антимонархическое чувство кажется чем-то вроде безумия, а греческие общины – сумасшедшими без надзирателя: величайшим благодетелем для них является наследственный царь, который завоевывает их извне, а вторым по значимости – домашний тиран, захватывающий акрополь и подчиняющий своих сограждан силой. Невозможно найти более верный способ исказить и извратить греческие явления, чем рассматривать их в таком духе, который противоречит как принципам благоразумия, так и морали, общепринятым в древнем мире. Ненависть к царям, существовавшая среди греков, – каким бы ни казалось подобное чувство сегодня, – была выдающейся добродетелью, проистекающей непосредственно из самой благородной и мудрой части их натуры: она была следствием их глубокого убеждения в необходимости всеобщего правового ограничения – прямым выражением той упорядоченной социальности, которая требовала контроля над личными страстями от каждого без исключения, и особенно от того, кому доверялась власть. Представление, которое

греки формировали о безответственном правителе или царе, который не может ошибаться, можно выразить многозначительными словами Геродота: [14]

«Он ниспровергает обычаи страны, насилует женщин, казнит людей без суда».

Никакое другое представление о вероятных тенденциях царской власти не оправдалось ни общим знанием человеческой природы, ни политическим опытом, накопленным со времен Солона: к такому характеру нельзя было испытывать ничего, кроме отвращения, и только человек бесчестных амбиций мог стремиться облечь себя такой властью.

Наш более обширный политический опыт научил нас смягчать это мнение, показывая, что при условиях монархии в лучших правительствах современной Европы зверства, описанные Геродотом, не происходят, – и что возможно, посредством представительных конституций, действующих под влиянием определенных нравов, обычаев и исторической памяти, предотвратить многие из [стр. 13] зол, которые могут проистекать из провозглашения обязанности беспрекословного повиновения наследственному и безответственному царю, которого нельзя сменить без внеконституционного насилия. Но такой более широкий взгляд не был доступен Аристотелю, самому мудрому и осторожному из древних теоретиков; да и если бы был доступен, он не смог бы с уверенностью применить его уроки к управлениям отдельных городов Греции. Теория конституционного царя, особенно в том виде, в каком она существует в Англии, показалась бы ему неосуществимой: установить царя, который будет царствовать, но не управлять, – от имени которого ведется все управление, но чья личная воля на практике почти или вовсе не имеет значения, – свободного от всякой ответственности, но не пользующегося этой свободой, – получающего от всех безмерные проявления почтения, которые никогда не превращаются в действия, выходящие за рамки известного закона, – окруженного всеми атрибутами власти, но действующего как пассивный инструмент в руках министров, выбранных по признакам, которым он не волен сопротивляться.

Это замечательное сочетание фикции сверхчеловеческого величия и вседозволенности с реальностью невидимого смиренного камзола – вот что англичанин имеет в виду, когда говорит о конституционном монархе: события нашей истории привели к этому в Англии, в среде аристократии, самой могущественной из всех, известных миру, – но нам еще предстоит узнать, может ли это существовать где-либо еще, или же появление одного-единственного царя, одновременно способного, агрессивного и решительного, не окажется достаточным, чтобы разрушить эту систему. Для Аристотеля это, несомненно, показалось бы непостижимым и неосуществимым: маловероятным даже в единичном случае – и совершенно невыносимым как постоянная система, учитывая все разнообразие характеров, присущих последовательным представителям наследственной династии.

Когда греки думали о человеке, свободном от юридической ответственности, они представляли его действительно таким – на деле, а не только на словах, – с незащищенным обществом, подверженным его угнетению; [15] и их страх и ненависть к нему измерялись [стр. 14] их почтением к правлению равного закона и свободного слова, с господством которого были связаны все их надежды на безопасность – в афинской демократии, пожалуй, больше, чем в любой другой части Греции. И это чувство, будучи одним из лучших в греческом сознании, было также одним из самых распространенных – пунктом единодушия, чрезвычайно ценным среди множества разногласий. Мы не можем истолковывать или критиковать его, ссылаясь на чувства современной Европы, а тем более на весьма своеобразные чувства Англии в отношении царской власти: и именно применение – иногда явное, иногда молчаливое – этого неподходящего стандарта делает оценку мистером Митфордом греческой политики столь часто неверной и несправедливой.

Когда мы пытаемся объяснить ход греческих дел не обстоятельствами других обществ, а обстоятельствами самих греков, мы увидим веские причины как для исчезновения, так и для неприязни к царской власти. Если бы греческий ум был столь же статичным и неразвиваю-

щимся, как у восточных народов, недовольство отдельными царями могло бы привести лишь к смене плохого царя на того, кто обещал быть лучше, без какого-либо расширения взглядов народа на что-либо выше идеи личного правления. Но греческий ум был прогрессирующим, способным задумывать и постепенно реализовывать улучшенные социальные комбинации.

Более того, по самой природе вещей любое правление – царское, олигархическое или демократическое, – ограниченное одним городом, гораздо менее устойчиво, чем если бы оно охватывало большую территорию и население: и когда то полурелигиозное и механическое подчинение, которое компенсировало личные недостатки героического царя, стало слишком слабым, чтобы служить рабочим принципом, [стр. 15] мелкий правитель находился в слишком тесном контакте со своим народом и был во всех отношениях слишком скромно обставлен, чтобы создать какой-либо иной престиж или иллюзию: у него не было средств устрашать воображение людей сочетанием пышности, уединения и таинственности, которые Геродот и Ксенофонт так хорошо оценивают среди уловок царского искусства. [16]

Поскольку не было нового чувства, на котором могла бы основываться власть постоянного правителя, не было и ничего в обстоятельствах общества, что делало бы поддержание такого достоинства необходимым для видимого и эффективного единства: [17] в одном городе и небольшой прилегающей общине коллективное обсуждение и общие правила с временными и ответственными магистратами были осуществимы без труда.

Сохранение безответственного царя и затем создание механизмов, которые извлекали бы из него преимущества ответственного правления, на деле представляет собой крайне сложную систему, хотя, как уже отмечалось, в современной Европе мы к ней привыкли. Более простым и очевидным изменением была бы замена самого царя одним или несколькими временными и подотчетными магистратами. Именно такой путь развития событий наблюдался в Греции. Младшие вожди, изначально составлявшие совет при царе, сочли возможным отстранить его и по очереди брать на себя административные функции, вероятно, сохраняя при этом периодический созыв народного собрания в его прежнем виде и с не большей практической эффективностью. В целом такова была суть перемены, произошедшей повсеместно в греческих государствах, за исключением Спарты: царская власть была упразднена, и ее место заняла олигархия – совет, принимавший решения коллективно, решавший общие вопросы большинством голосов и избиравший из своего состава отдельных лиц в качестве временных и подотчетных [стр. 16] администраторов.

На смену героической монархии всегда приходила олигархия: до эпохи демократических движений было еще далеко, и положение народа – основной массы свободных граждан – не изменилось немедленно, ни к лучшему, ни к худшему, в результате этой революции. Небольшая группа привилегированных лиц, между которыми распределялись и сменяли друг друга царские полномочия, состояла из тех, кто стоял ближе всего к царю по статусу, возможно, из членов того же крупного рода, что и он, и претендовала на общее божественное или героическое происхождение. Насколько мы можем судить, эта перемена произошла естественным путем, без насилия. Иногда царская линия пресекалась и не возобновлялась; иногда после смерти царя его сын и преемник признавался [18] лишь архонтом, а то и вовсе отстранялся, чтобы уступить место притану или президенту из числа знатных лиц.

В Афинах, как нам известно, последним царем был Кодр, а его потомки признавались лишь пожизненными архонтами; спустя несколько лет пожизненных архонтов сменили десятилетние, избираемые из числа эвпатридов, или знати; впоследствии срок архонтства был сокращен до одного года. В Коринфе, как говорят, древние цари аналогичным образом уступили место олигархии Бакхиадов, из числа которых избирался ежегодный притан. Мы можем установить лишь сам факт такой перемены, не зная, как именно она происходила, – наше первое историческое знакомство с греческими городами начинается уже с этих олигархий.

[стр. 17] Подобные олигархические правительства, различавшиеся в деталях, но схожие в основных чертах, были распространены как в городах собственно Греции, так и в колониях на протяжении VII века до н. э. Хотя они мало способствовали непосредственной выгоде основной массы свободных граждан, но в сравнении с предшествовавшим героическим правлением они знаменовали важный шаг вперед – первое принятие продуманной и заранее определенной системы управления общественными делами. [19] Они демонстрируют первые свидетельства новых и важных политических идей в греческом сознании – разделение законодательной и исполнительной властей: первая вручалась коллективному органу, не только обсуждавшему, но и окончательно решавшему вопросы, тогда как вторая доверялась временным индивидуальным магистратам, подотчетным этому органу по истечении срока их полномочий. Впервые мы встречаемся с общиной граждан по определению Аристотеля – людей, способных и считающих себя способными по очереди командовать и подчиняться. Так формируется коллективный суверен, именуемый Городом. Правда, эта первая община граждан включала лишь малую часть лично свободных людей, но идеи, на которых она основывалась, постепенно начали озарять умы всех. Политическая власть утратила свой богоустановленный характер и стала атрибутом, юридически передаваемым и ограниченным определенными целями; так была заложена почва для тех тысяч вопросов, которые волновали многие греческие города в последующие три столетия – отчасти касавшихся ее распределения, отчасти ее применения, – вопросов, поднимавшихся как среди членов привилегированной олигархии, так и между этим сословием в целом и непривилегированным большинством. Семена тех народных движений, которые вызывали столь глубокие эмоции, столь bitter неприязнь, столько энергии и талантов во всем греческом мире, с различными вариациями в каждом отдельном городе, могут быть, таким образом, [стр. 18] прослежены до той ранней революции, которая возвела примитивную олигархию на руинах героического царства.

У нас нет прямых сведений о том, как управлялись эти первые олигархии, но узкие и антинародные интересы, естественно присущие привилегированному меньшинству, вместе с общей склонностью к насилию в частных нравах и страстях, не дают нам оснований предполагать что-либо хорошее ни об их благоразумии, ни о добрых намерениях; а факты, известные нам о положении Аттики до законодательства Солона (о чем пойдет речь в следующей главе), позволяют сделать лишь неблагоприятные выводы.

Первый удар, который они испытали и который опрокинул так многих из них, был нанесён узурпаторами, именуемыми тиранами. Эти честолюбцы использовали широко распространённое недовольство как предлог и как орудие для достижения личной власти, а их частый успех свидетельствует о том, что недовольство было и повсеместным, и глубоким. Тираны вышли из недр самих олигархий, но не все одним и тем же способом. [20]

Иногда должностное лицо, наделённое олигархией значительной властью на определённый срок, изменяло своим избирателям и, укрепившись у власти, удерживало её вопреки их воле – а порой даже передавало сыну. В других случаях, и, кажется, чаще, появлялся известный тип демагога, которого историки – как древние, так и современные – обычно изображают в самых непривлекательных красках: [21] человек энергии и честолюбия, иногда даже член самой олигархии, который выступал защитником обездоленных и угнетённых масс, завоёвывал их доверие и с их помощью [р. 19] настолько успешно низвергал олигархию, что сам становился тираном. Третью разновидность тирана представлял собой наглый богач, вроде Килона в Афинах, который, не утруждая себя даже видимостью народной поддержки, вдохновлялся примером подобных авантюристов в других местах, нанимал отряд телохранителей и захватывал акрополь. Встречались, хотя и редко, и тираны четвёртого рода – прямые потомки древних царей, – которые вместо того, чтобы подчиниться ограничениям, налагаемым олигархией, находили способ подчинить её себе и силой добивались власти, равной той, какой их предки обладали с общего согласия. К этому следует добавить, что в некоторых греческих государствах

существовал также эсимнет, или диктатор, – гражданин, формально облечённый верховной и бесконтрольной властью, поставленный во главе войска и располагавший постоянной стражей, но лишь на определённый срок и для устранения какой-либо насущной опасности или губительных внутренних раздоров. [22] Человек, возвысившийся таким образом, обычно пользовался большим доверием и, как правило, был способным правителем; иногда он добивался такого успеха или становился настолько незаменимым для общества, что срок его полномочий продлевался, и он превращался в пожизненного тирана. А даже если общество и не желало уступать ему власть навсегда, он нередко был достаточно силен, чтобы удержать её против его воли.

Таковы были различные пути, которыми многочисленные греческие тираны VII и VI веков до н. э. приходили к власти. Хотя в общих чертах мы знаем об этом из кратких упоминаний Аристотеля, к сожалению, у нас нет ни одного современного описания какого-либо из этих государств, которое позволило бы нам детально оценить происходившие перемены. Среди тех, кто, обладая наследственной царской властью, расширил её до тирании, Аристотель называет в качестве примера Фидона Аргосского, чьё правление уже было описано в предыдущем томе. Среди тех, кто стал тираном, используя должностные полномочия, полученные при олигархии, он упоминает Фалариса в Агригенте, а также тиранов Милета и других городов ионийских греков. Среди поднявшихся благодаря демагогии он выделяет Панатия в сицилийских Леонтинах, Кипсела в Коринфе и Писистрата в Афинах. [23] Что же касается эсимнетов, или выборных тиранов, то самым ярким примером здесь является Питтак Митиленский. Воинственный и агрессивный демагог, свергающий олигархию, которая его унижала и притесняла, правящий несколько лет жестоким тираном и в конце концов низложенный и убитый, – таков образ Аристодема Кумского, нарисованный Дионисием Галикарнасским. [24]

Из общего описания Фукидида и Аристотеля мы узнаём, что VII и VI века до н. э. были для греческих городов временем прогресса – роста богатства, могущества и населения. Многочисленные колонии, основанные в этот период (о чём речь пойдёт в одной из последующих глав), служат дополнительным свидетельством этих прогрессивных тенденций. Те перемены в греческих правительствах, о которых шла речь, пусть и известные нам лишь в общих чертах, в целом являются явными признаками развития гражданского сознания. Ведь героическая власть, с которой начинается история греческих общин, – это самая грубая и инфантильная форма правления, лишённая даже видимости системы или гарантий, непредсказуемая и зависящая лишь от случайных качеств правящего лица, которое в большинстве случаев не только не защищало бедных от богатых и знатных, но и само, подобно им, предавалось страстям, пользуясь ещё большей безнаказанностью.

Тираны, которые во многих городах сменили олигархические правительства, хотя и управляли обычно узко и эгоистично, а зачастую и жестоко угнетали народ («не заботясь – по выразительным словам Фукидида – ни о чём, кроме собственного тела и собственной семьи»), всё же, поскольку они не были достаточно сильны, чтобы сломить греческий дух, преподали ему суровый, но поучительный политический урок и значительно расширили круг его опыта, определив в то же время его дальнейшие настроения. [25] Они отчасти разрушили преграду между народом – в собственном смысле слова, то есть общей массой свободных граждан – и олигархией; более того, тираны-демагоги интересны как первое свидетельство растущей политической роли народа. Демагог выступал как выразитель чувств и интересов народа против правящего меньшинства, вероятно, используя отдельные случаи злоупотреблений и стараясь вести себя лично скромно и великодушно; и когда народ своей вооружённой поддержкой помогал ему свергнуть существующих правителей, он имел удовлетворение видеть своего вождя у верховной власти, но сам не получал ни политических прав, ни дополнительных гарантий. Насколько существенную выгоду они извлекли из этого, помимо унижения прежних угнетателей, мы знаем слишком мало, чтобы судить; [26] но даже худший из тиранов был

опаснее для богатых, чем для бедных, и последние, возможно, кое-что выиграли от перемены, по крайней мере в относительном значении, несмотря на свою долю в тяготах и поборах правительства, не имевшего иной прочной основы, кроме голого страха.

Здесь заслуживает особого внимания замечание Аристотеля, иллюстрирующее политический прогресс и воспитание греческих общин. Он проводит резкое различие между демагогом VII–VI веков и поздним демагогом, какового он сам и предшествующие поколения имели возможность наблюдать: первый был военным вождем, смелым и изобретательным, который брался за оружие во главе толпы народных повстанцев, свергал правительство силой и становился властителем как тех, кого он низложил, так и тех, чьей помощью он воспользовался; тогда как последний был оратором, обладающим всеми талантами, необходимыми для воздействия на аудиторию, но не склонным и не способным к вооруженной борьбе, – достигая всех своих целей мирными и конституционными методами.

Это ценное изменение – замена апелляции к оружию дискуссией и голосованием в собрании, а также обеспечение такого влияния принятых решений на умы людей, что даже несогласные вынуждены были признавать их окончательными и уважать, – возникло благодаря непрерывному практическому функционированию демократических институтов.

В дальнейшем ходе этой истории мне представится случай оценить ту беспредельную хулу, которая была возведена на афинских демагогов Пелопоннесской войны – Клеона и Гипербола; но даже если допустить, что вся она справедлива, останется не менее верным, что эти люди представляли собой значительный прогресс по сравнению с прежними демагогами, такими как Кипсел и Писистрат, которые использовали вооруженную поддержку народа для свержения существующего правительства и установления собственной деспотической власти.

Демагог по сути был лидером оппозиции, приобретающим влияние благодаря обличению тех, кто реально находился у власти и осуществлял исполнительные функции. При ранних олигархиях его оппозиция могла проявляться только в форме вооруженного восстания и вела его либо к личному владычеству, либо к гибели; но развитие демократических институтов обеспечивало как ему, так и его политическим противникам полную свободу слова и верховное собрание, которое решало их спор, – одновременно ограничивая масштабы его амбиций и устраняя апелляцию к силе.

Таким образом, афинский демагог времен Пелопоннесской войны (даже если буквально принять описания его злейших врагов) был гораздо менее вредным и опасным, чем демагог-боец прежних столетий; и «развитие привычки к публичным речам» [27], как выражается Аристотель, было причиной этого различия: оппозиция языком стала благотворной заменой оппозиции мечом.

Возникновение этих деспотов на развалинах прежних олигархий казалось возвращением к принципам героической эпохи – восстановлением власти личной воли вместо системного порядка, известного как Полис. Но греческий ум уже настолько перерос эти ранние принципы, что никакое новое правительство, основанное на них, не могло встретить добровольного признания, разве что под влиянием временного возбуждения.

Поначалу, несомненно, популярность узурпатора – подкреплённая рвением его сторонников, изгнанием или запугиванием противников, а также наказанием богатых угнетателей – обеспечивала ему повиновение; и благоразумие с его стороны могло продлить это беспрекословное правление на значительный срок, возможно, даже на всю жизнь. Но Аристотель отмечает, что эти режимы, даже начавшиеся хорошо, имели постоянную тенденцию ухудшаться: недовольство проявлялось и усугублялось, а не подавлялось применяемым насилием, пока в конце концов деспот не оказывался во власти подозрительной и злобной тревоги, утрачивая всякую меру справедливости или доброжелательности, которая могла когда-то его вдохновлять.

Если ему удавалось передать власть сыну, тот, воспитанный в развращенной атмосфере и окруженный паразитами, приобретал еще более пагубные и антиобщественные наклонности: его юные страсти были неукротимее, в то время как ему недоставало благоразумия и энергии, которые были необходимы для самостоятельного возвышения его отца. [28]

Единственной опорой такого положения были наемные стражи и укрепленный акрополь – стража, содержавшаяся за счет граждан и потому требовавшая постоянных поборов в пользу того, что было не чем иным, как враждебным гарнизоном. Для безопасности деспота было необходимо подавлять дух [р. 24] свободного народа, которым он правил; изолировать людей друг от друга и предотвращать собрания и общение, обычные для греческих городов в школах, лешэ или палестрах; «срезать возвышающиеся колосья в поле» (как выражались греки) – то есть уничтожать возвышенные и предприимчивые умы. [29]

Более того, он даже был до некоторой степени заинтересован в том, чтобы унижать и разорять своих подданных или, по крайней мере, лишать их возможности приобретать богатство или досуг: и масштабные постройки Поликрата на Самосе, равно как и богатые дары Периандра храму в Олимпии, рассматриваются Аристотелем как меры, предпринятые этими деспотами с прямой целью занять время и истощить средства их подданных.

Не следует думать, что все они были в равной мере жестоки или беспринципны; но постоянное господство одного человека и одной семьи стало настолько оскорбительным для зависти тех, кто считал себя его равными, и для общего чувства народа, что репрессии и суровость оказывались неизбежными, независимо от первоначальных намерений.

И даже если узурпатор, вступив на этот путь насилия, испытывал отвращение к его продолжению, отречение оставляло его в крайней опасности, подвергая мести [р. 25] тех, кого он обидел, – если только он не мог прикрыться мантией религии и договориться с народом о том, чтобы стать жрецом какого-либо храма и божества; в этом случае его новый статус защищал его, подобно тому как тонзура и монастырь укрывали свергнутого правителя в Средние века. [31]

Некоторые из деспотов покровительствовали музыке и поэзии и старались завоевать расположение современников интеллектуального круга приглашениями и наградами; были и случаи, как с Писистратом и его сыновьями в Афинах, когда предпринималась попытка (аналогичная действиям Августа в Риме) примирить реальность личного всевластия с определенным уважением к прежним формам. [32]

В таких случаях управление, хотя и не свободное от преступлений, никогда не бывшее популярным и осуществлявшееся с помощью иностранных наемников, несомненно, было практически мягче. Но случаи такого рода были редки, и обычные для греческих деспотов максимы воплощались в Периандре, Кипселиде Коринфском – человеке суровом и грубом, но не лишенном ни энергии, ни ума.

Позиция греческого деспота, как она изображена у Платона, Ксенофонта и Аристотеля [33] и дополнительно подтверждается указаниями у Геродота, Фукидида и Исократ, хотя всегда вожделенна для честолюбцев, ясно обнаруживает «те душевные раны [стр. 27] и терзания», которыми внутренняя Эриния мстила общине за узурпатора, попиравшего её. Далекие от того, чтобы считать успех узурпации оправданием попытки (согласно теориям, ныне распространённым относительно Кромвеля и Бонапарта, которых часто порицают за то, что они устранили законного царя, но никогда – за то, что захватили ничем не обоснованную власть над народом), эти философы рассматривают деспота как одного из величайших преступников: человек, убивший его, становился предметом всеобщего почёта и награды, и добродетельный грек редко колебался бы спрятать меч в миртовых ветвях, подобно Гармодию и Аристогитону, для совершения этого деяния [34]. Положение, возвышавшееся над ограничениями и обязательствами, присущими гражданству, одновременно лишалось всякого права на общее сочувствие и защиту [35], так что деспоту было небезопасно лично посещать великие общезлнин-

ские игры, на которых его колесница, возможно, могла бы одержать победу, и где теоры, или священные послы, которых он посылал как представителей своего эллинского города, появлялись с показной пышностью. Правление, осуществляемое в таких неблагоприятных обстоятельствах, не могло [стр. 28] быть иным, кроме как недолговечным. Хотя индивидуум, достаточно отважный, чтобы захватить его, часто находил способы сохранить его в течение своей жизни, но вид дожившего до старости деспота был редкостью, а передача его власти сыну – ещё большей [36].

Среди многочисленных пунктов разногласий в греческой политической морали эта глубокая антипатия к постоянному наследственному правителю выделялась как почти единодушное чувство, в котором одинаково сходились жажда превосходства, ощущаемая богатыми немногими, и любовь к равной свободе в сердцах многих. Она впервые возникла среди олигархий VII и VI веков до н. э., представляя полную противоположность тому ярко выраженному монархическому чувству, которое мы теперь читаем в «Илиаде»; и она была передана ими демократиям, которые возникли лишь в более поздний период. Конфликт между олигархией и деспотизмом предшествовал конфликту между олигархией и демократией, причём лакедемоняне активно выступали в обоих случаях в поддержку олигархического принципа: смешанное чувство страха и отвращения побудило их свергнуть деспотизм в нескольких городах Греции в VI веке до н. э., точно так же, как во время их борьбы с Афинами в [стр. 29] следующем веке они помогали олигархической партии везде, где могли, свергнуть демократию. И именно таким образом демагог-деспот этих ранних времён, выдвигая имя народа как предлог и используя оружие народа как средство достижения своих собственных честолюбивых замыслов, служил прелюдией к реальности демократии, которая проявилась в Афинах незадолго до Персидской войны как развитие семени, посеянного Солоном.

Насколько наша неполная информация позволяет нам проследить, ранние олигархии греческих государств, против которых боролись первые узурпирующие деспоты, содержали в себе гораздо более отталкивающие элементы неравенства и более пагубные барьеры между составными частями населения, чем олигархии более поздних времён. То, что было верно для Эллады в целом, было верно, хотя и в меньшей степени, для каждого отдельного сообщества, входившего в этот состав: каждое включало множество кланов, сословий, религиозных братств и местных или профессиональных групп, которые были очень слабо связаны между собой; и олигархия не была, как правительство, именуемое так в последующие времена, правлением богатых немногих над менее богатыми и бедными, но правлением особого сословия, иногда патрицианского, над всем остальным обществом. В таком случае подчинённые многие могли включать состоятельных и зажиточных собственников так же, как и правящие немногие; но эти подчинённые многие сами распадалась на различные разнородные фракции, не испытывая искренней симпатии друг к другу, возможно, не вступая в браки между собой и не участвуя в одних и тех же религиозных обрядах. Сельское население, или деревенские жители, обрабатывавшие землю, в эти ранние времена, по-видимому, находились в тяжёлой зависимости от собственников, живших в укреплённом городе, и отличались своей собственной одеждой и привычками, которые часто навлекали на них недружелюбные прозвища. Эти городские собственники, по-видимому, часто составляли правящий класс в ранних греческих государствах, в то время как их подданные состояли из: 1. Зависимых земледельцев, живших в окружающей местности, обрабатывавших их земли. 2. Определённого числа мелких самостоятельных собственников (αὐτοῦργοι), чьи владения были слишком скудны, чтобы содержать кого-либо кроме себя самих, трудившихся своими руками на собственном участке – проживавших либо в деревне, либо в городе, в зависимости от обстоятельств [стр. 30]. 3. Тех, кто жил в городе, не имея земли, но занимаясь ремёслами, искусствами или торговлей.

Правящие собственники именовались Гаморами, или Геоморами, в зависимости от того, использовался ли дорический или ионический диалект для их описания, поскольку они встре-

чались в государствах, принадлежавших к одной расе так же, как и к другой. Они, по-видимому, составляли замкнутое сословие, передавая свои привилегии детям, но не допуская новых членов к участию, – поскольку принцип, называемый греческими мыслителями тимократией, назначение политических прав и привилегий в соответствии с сравнительным имущественным положением, по-видимому, мало применялся в более ранние времена, если применялся вообще, и мы не знаем ни одного примера его ранее Солона. Так что, в результате естественного умножения семей и изменения имущественного положения, могли появиться многие отдельные гаморы, не владевшие землёй вовсе и, возможно, находившиеся в худшем положении, чем те мелкие свободные землевладельцы, которые не принадлежали к сословию; в то время как некоторые из этих последних свободных землевладельцев, а также некоторые ремесленники и торговцы в городах, могли одновременно увеличивать своё богатство и значимость. При такой политической классификации, отталкивающее неравенство которой усугублялось грубыми нравами и которая не обладала гибкостью, чтобы соответствовать изменениям в относительном положении отдельных жителей, недовольство и вспышки были неизбежны, и первый деспот, обычно богатый человек из лишённого прав класса, становился защитником и лидером недовольных [37]. Однако угнетающим ни было бы его правление, по крайней мере, это было угнетение, которое обрушивалось с неразборчивой суровостью на все части населения; и когда наступал час реакции против него или против его преемника, так что общий враг изгонялся объединёнными усилиями всех, было почти невозможно возродить прежнюю систему исключения и неравенства без некоторых значительных уступок.

Как общее правило, каждое греческое городское сообщество включало в своё население, независимо от купленных рабов, три вышеупомянутых элемента – крупных земельных собственников с сельскими зависимыми, мелких самостоятельных собственников и городских ремесленников, – причём эти три элемента повсеместно встречались в разных пропорциях. Но ход событий в Греции, начиная с VII века [стр. 31] до н. э., постоянно способствовал повышению сравнительной важности двух последних, в то время как в те ранние дни господство первого было на максимуме и изменялось только в сторону упадка. Военная сила большинства городов изначально находилась в руках крупных собственников и формировалась ими; она состояла из кавалерии, их самих и их слуг, с лошадьми, которых кормили на их землях. Таково было первоначальное олигархическое ополчение, каким оно было организовано в VII и VI веках до н. э. [38], в Халкиде и Эретрии на Эвбее, а также в Колофоне и других городах Ионии, и каким оно оставалось в Фессалии вплоть до IV века до н. э.; но постепенный подъём мелких собственников и городских ремесленников ознаменовался заменой кавалерии тяжело-вооружённой пехотой; и ещё более важное изменение произошло, когда сопротивление Персии привело к значительному увеличению числа греческих военных кораблей, укомплектованных множеством моряков, живших скученно в приморских городах. Все изменения, которые мы можем проследить в греческих сообществах, стремились разрушить тесные и исключительные олигархии, с которых начинается наше первое историческое знание, и привести их либо к несколько более открытым олигархиям, охватывающим всех людей с определённым имущественным цензом, либо к демократиям. Но переход в обоих случаях обычно достигался через интерлюдию деспота.

При перечислении различных и несогласованных элементов, из которых состояло население этих ранних греческих общин, нельзя упустить ещё один элемент, встречающийся в дорийских государствах в целом, – людей дорийского происхождения в противопоставлении людям недорийского происхождения. Дорийцы во всех случаях были переселенцами и завоевателями, утверждавшимися за счёт прежних жителей. На каких условиях происходило это сосуществование и в каких пропорциях смешивались пришельцы и покорённые, нам неизвестно; и хотя этот фактор крайне важен для истории этих дорийских общин, мы знаем о нём лишь в общих чертах и не можем проследить его последствия в деталях. Однако нам доста-

точно известно, чтобы убедиться: в тех революциях, которые свергли [стр. 32] олигархии и в Коринфе, и в Сикионе, – а возможно, и в Мегаре, – дорийский и недорийский элементы общества вступили в более или менее прямой конфликт.

Первыми тиранами, о которых у нас есть чёткие упоминания, были правители Сикиона. Их династия продержалась сто лет – дольше, чем любая другая известная Аристотелю греческая тирания; более того, говорится, [39] что они правили мягко, с большим уважением к прежним законам. Орфагор, [40] основатель династии, пришёл к власти около 676 г. до н. э., свергнув существовавшую дорийскую олигархию; однако причины и обстоятельства этого переворота не сохранились. Говорят, он изначально был поваром. В числе его преемников упоминаются Андрей, Мирон, Аристоним и Клисфен; но о них, кроме последнего, ничего не известно, за исключением того, что Мирон одержал победу в гонке колесниц на 33-й Олимпиаде (648 г. до н. э.) и построил в том же священном месте сокровищницу с двумя украшенными медными нишами для хранения памятных даров от себя и своей семьи. [41]

Что касается Клисфена (чья [стр. 33] эпоха должна быть отнесена к периоду между 600–560 гг. до н. э., но точнее установить её сложно), то о нём сохранились весьма любопытные сведения, хотя и не совсем легко поддающиеся проверке.

Из рассказа Геродота мы узнаём, что фила, к которой принадлежал сам Клисфен [42] (а значит, и его предки Орфагор и другие Орфагорида), отличалась от трёх дорийских фил, уже упомянутых в моей предыдущей главе о Ликурговом устройстве в Спарте, – Гиллеев, Памфилов и Диманов. Мы также узнаём, что эти филы были общими для сикионян и аргосцев; и Клисфен, находясь в состоянии ожесточённой вражды с Аргосом, предпринял несколько попыток уничтожить точки соприкосновения между ними. Сикион, изначально доризированный переселенцами из Аргоса, входил в «долю Темена», то есть в число городов Аргосского союза. Сплочённость этого союза постепенно ослабевала, отчасти, несомненно, под влиянием предшественников Клисфена; но аргосцы, возможно, пытались возродить его, что привело их к состоянию войны с ним и побудило его открыто и насильственно разорвать связь Сикиона с Аргосом.

Существовали две основы, на которых держалась эта связь: во-первых, легендарная и религиозная общность; во-вторых, гражданские обряды и названия, принятые среди сикионских дорийцев. Клисфен уничтожил и то, и другое. Он изменил названия как трёх дорийских фил, так и недорийской филы, к которой принадлежал сам: последнюю он назвал комплиментарным именем архелаи (предводители народа), а первые три – оскорбительными именами гиатов, онеатов и хойреатов, происходящими от греческих слов, означающих «кабан», «осёл» и «поросёнок». Вся глубина этого оскорбления становится понятной, только если представить себе, с каким почтением в греческом городе относились к герою, от которого происходило название филы. [стр. 34] Геродот утверждает, что эти новые названия, данные Клисфеном, не только унижали дорийские филы, но и подчёркивали превосходство его собственной, и это заслуживает доверия.

Но ещё более отчётливо жестокость Клисфена в его антиаргосской ненависти проявилась в его действиях относительно героя Адраста и народных легендарных представлений. Об этом примечательном эпизоде уже упоминалось в моём предыдущем томе, [43] но здесь стоит вкратце повторить. Герой Адраст, чью часовню сам Геродот видел на сикионской агоре, почитался и в Аргосе, и в Сикионе, занимая особое место в обоих городах. В легендах он фигурирует как царь Аргоса, внук и наследник Полиба, царя Сикиона. Он был несчастным предводителем двух походов на Фивы, столь знаменитых в древнем эпосе, – и сикионяне с удовольствием слушали как о подвигах аргосцев против Фив, воспеваемых эпическими рапсодами, так и о скорбной судьбе Адраста и его семейных несчастьях, излагаемых в трагическом хоре.

Клисфен не только запретил рапсодам появляться в Сикионе, но и решил изгнать самого Адраста из страны – таков буквальный смысл греческого выражения, [44] поскольку героя

считали реально присутствующим и живущим среди народа. Сначала он обратился к Дельфийскому оракулу за разрешением осуществить это изгнание напрямую, но пифия ответила гневным отказом: «Адраст – царь сикионян, а ты – негодяй». Потерпев неудачу, он прибегнул к хитрости, чтобы заставить Адраста уйти добровольно. [45] Он отправил послов в Фивы с просьбой разрешить ему ввести в Сикион героя Меланиппа, и разрешение было получено.

Меланипп был известен в легендах как могущественный защитник Фив против Адраста и аргосских осаждавших, убивший как Мекистея, брата Адраста, так и Тидея, его зятя, – и потому был особенно ненавистен Адрасту. Клисфен привёз этого антинационального героя в Сикион, выделив ему священный участок в пританее (правительственном здании), причём в наиболее укрепленной его части [46] (по-видимому, предполагалось, что Адраст может напасть на пришельца и вступить с ним в бой). Более того, он отнял у Адраста и трагические хоры, и жертвоприношения, передав первые Дионису, а вторые – Меланиппу.

Религиозные проявления Сикиона, таким образом, перешли от Адраста к его смертельному врагу и от дела аргивян в осаде Фив к делу фиванцев. Предполагалось, что Адраст добровольно покинул это место, и цель, которую преследовал Клисфен – разорвать общность чувств между Сикионом и Аргосом, – была отчасти достигнута.

Правитель, способный на такое насилие над религиозными и легендарными чувствами своей общины, вполне мог позволить себе намеренное оскорбление дорийских племен, выраженное в их новых названиях. Однако, поскольку мы не знаем состояния дел, предшествовавшего этим событиям, нам неизвестно, в какой мере это могло быть ответом на предшествующие оскорбления с противоположной стороны. Очевидно, что дорийцы Сикиона сохраняли себя и свои древние племена обособленно от остальной общины, хотя мы не можем точно определить, какие другие элементы составляли население и в каких отношениях они находились с этими дорийцами.

Действительно, нам известно о зависимом сельском населении на территории Сикиона, как и в Аргосе и Эпидавре, аналогичном илотам в Лаконии. В Сикионе этот класс назывался Коринефорами (дубинщики) или Катонакофорами – из-за толстых шерстяных плащей, которые они носили, с пришитыми к ним овечьими шкурами. В Аргосе их именовали Гимнесии – из-за отсутствия у них тяжелого вооружения или регулярного оружия. В Эпидавре – Кониподы (пыльноногие). [47] Можно заключить, что подобный класс существовал и в Кори [с. 36] нфе, в Мегаре, и в каждом из дорийских городов Аргolidского акта.

Но помимо дорийских племен и этих сельчан, вероятно, существовали недорийские землевладельцы и городские жители, и на них, возможно, опиралась власть Орфагоридов и Клисфена – возможно, более дружелюбная и снисходительная к сельским сервам, чем прежняя власть дорийцев. Умеренность, которую Аристотель приписывает Орфагоридам в целом, опровергается действиями Клисфена. Однако можно предположить, что его предшественники, довольствуясь поддержанием реального преобладания недорийского населения над дорийским, мало вмешивались в обособленное положение и гражданские привычки последних, – тогда как Клисфен, спровоцированный или встревоженный их попытками укрепить союз с аргивянами, прибег как к репрессивным мерам, так и к тем оскорбительным названиям, которые были приведены выше.

Сохранение власти Клисфена было обусловлено (по Аристотелю) скорее его военной энергией, чем умеренностью и народным правлением; этому также способствовали, вероятно, его великолепные выступления на общественных играх, ибо он одержал победу в гонках колесниц на Пифийских играх в 582 г. до н. э., а также на Олимпийских играх. Более того, он фактически был последним в своем роде и не передал свою власть преемнику. [48]

Таким образом, правление ранних Орфагоридов можно рассматривать как недавно приобретенное, но спокойно осуществляемое преобладание недорийцев над дорийцами в Сикионе, тогда как правление Клисфена ознаменовалось резким всплеском вражды первых ко вто-

рым. И хотя эта вражда и использование оскорбительных племенных названий приписываются лично Клисфену, можно видеть, что недорийцы Сикиона разделяли её, поскольку эти названия сохранялись не только во время его правления, но и в течение шестидесяти лет после его смерти. Разумеется, излишне говорить, что такие наименования никогда не могли быть признаны или использоваться среди самих дорийцев. [с. 37]

Спустя шестьдесят лет после смерти Клисфена сикионцы пришли к мирному урегулированию вражды и установили племенные названия, удовлетворительные для всех сторон: старые дорийские имена (Гиллеи, Памфилы и Диманы) были восстановлены, а название четвертого племени (недорийцев) изменено с Архелаев на Эгиалеев – эпонимом для них был избран Эгиалей, сын Адраста. [49] Этот выбор сына Адраста в качестве эпонима, по-видимому, указывает на то, что культ самого Адраста был тогда возрожден в Сикионе, поскольку он существовал во времена Геродота.

О войне, которую Клисфен помог вести против Кирры для защиты Дельфийского храма, я расскажу в другом месте. Его смерть и прекращение династии, по-видимому, произошли около 650 г. до н. э., насколько можно восстановить хронологию. [50] Предположение, что он был свергнут спартанцами (как считают К. Ф. [с. 38] Германн, О. Мюллер и доктор Тирлуолл), [51] едва ли согласуется с рассказом Геродота, который упоминает сохранение оскорбительных имен, навязанных дорийским племенам Клисфеном, в течение многих лет после его смерти. Ведь если бы спартанцы силой вмешались для подавления его династии, можно разумно предположить, что даже если они не восстановили бы решительное преобладание дорийцев в Сикионе, то по крайней мере избавили бы дорийские племена от этого явного унижения.

Но сомнительно, что у Клисфена вообще был сын. Исключительное значение, придаваемое браку его дочери Агаристы, выданной за афинянина Мегакла из знатного рода Алкмеонидов, скорее указывает на то, что она была наследницей – не его власти, но его богатства. Нет сомнений в факте этого брака, от которого родился афинский лидер Клисфен, впоследствии автор великой демократической революции в Афинах после изгнания Писистратидов. Однако живые и занимательные подробности, которыми Геродот окружил этот рассказ, носят скорее отпечаток романтики, чем реальности. По-видимому, сочиненные каким-то изобретательным афинянином в комплимент алкмеонидской линии его города (включавшей и Клисфена, и Перикла), эти повествования увековечивают брачное соперничество между этой линией и другим знатным афинским домом, одновременно давая мифическое объяснение, казалось бы, пословичному в Афинах выражению: «Гиппоклиду наплевать». [52]

Плутарх упоминает Эсхина Сикионского [53] среди тиранов, свергнутых Спартой. Но когда это произошло и как это связано с историей Клисфена, изложенной у Геродота, мы сказать не можем.

Современниками Орфагоридов в Сикионе – начавшими чуть позже и завершившими несколько раньше – были тираны Кипсел и Периандр в Коринфе. Первый выступил как ниспровергатель олигархии, называвшейся Бакхиады. О том, как он достиг своей цели, у нас нет сведений, и этот исторический пробел неадекватно заполнен различными религиозными предзнаменованиями и оракулами, предвещавшими возвышение, суровое правление и свержение после двух поколений этих могущественных тиранов.

Согласно глубоко укоренившейся в греческом сознании идее, гибель великого князя или великой державы обычно предвещается ему богами заранее, хотя по черствости сердца или по неосторожности к предупреждению не прислушиваются. Что касается Кипсела и Вакхиад, то нам сообщают, что Мелас, предок первого, был одним из первых поселенцев в Коринфе, сопровождавших первого дорийского вождя Алетеса, и что Алетес напрасно был предупрежден оракулом не принимать его; [54] опять же, непосредственно перед рождением Кипсела, Вакхиады получили извещение, что его мать собирается родить того, кто станет их гибелью: Опасный младенец избежал гибели лишь на волосок от смерти, будучи спасен от намерений

своих губителей удачным сокрытием в сундуке. Лабба, мать Кипсела, была дочерью Амфиона, принадлежавшего к роду, или септу, вакхиадов; но она была хромой, и никто из рода не согласился бы взять ее в жены с таким уродством. Этион, сын Эхекратеса, ставший ее мужем, принадлежал к другой, но не менее выдающейся героической генеалогии: он был из рода лапитов, происходил от Кеней и жил в коринфском деме под названием Петра. Таким образом, мы видим, что Кипсел был не только высокородным человеком в городе, но и вакхиадом по полу-кровке; оба эти обстоятельства должны были сделать отстранение от управления непереносимым для него. Он пользовался большой популярностью в народе, с его помощью сверг и изгнал вакхиадов и оставался деспотом в Коринфе тридцать лет до своей смерти (655—625 гг. до н. э.). Согласно Аристотелю, он всю жизнь сохранял ту же примирительную манеру поведения, с помощью которой была приобретена его власть; его популярность поддерживалась настолько эффективно, что ему никогда не требовалась телохранителей. Но коринфская олигархия века Геродота, чей рассказ этот историк воплотил в оратории коринфского посланника Сосиклеса [55] к спартанцам, [р. 41] дала совсем другое описание и изобразила Кипсела жестоким правителем, который изгонял, грабил и убивал поголовно.

Его сын и преемник Периандр, хотя и был энергичным воином, отличался как поощритель поэзии и музыки и даже был причислен некоторыми к семи мудрецам Греции, тем не менее, единодушно представлен как деспотичный и бесчеловечный в своем обращении с подданными. Отвратительные истории, которые рассказывают о его личной жизни, отношениях с матерью и женой, можно по большей части считать клеветой, вызванной неприятными ассоциациями с его памятью; однако есть все основания приписывать ему тиранию самого худшего характера, а кровожадные максимы предосторожности, столь часто применяемые греческими деспотами, по общему мнению, восходят к Периандру [56] и его современнику Фрасибулу, деспоту Милета. Он содержал мощную телохранителей, пролил много крови и был непомерен в своих поборах, часть которых уходила на вотивные жертвы в Олимпии; и эта щедрость богам рассматривалась Аристотелем и другими как часть преднамеренной системы, направленной на то, чтобы держать своих подданных как в тяжелом труде, так и в бедности. В одном случае нам рассказывают, что он пригласил женщин Коринфа собраться для празднования религиозного праздника, а затем лишил их богатых нарядов и украшений. Некоторые поздние авторы изображают его как сурового противника роскоши и распутных привычек, побуждающего к промышленности, заставляющего каждого человека отчитываться о средствах к существованию и заставляющего бросать в море коринфских проституток. [57] Хотя на общие черты его характера, его жестокую тиранию в не меньшей степени, чем на его энергичность и способности, можно вполне положиться, конкретные происшествия, связанные с его именем, крайне сомнительны: наиболее достоверным из всех представляется рассказ о его необъяснимой ссоре с сыном и жестоким обращении со многими знатными коркирскими юношами, о чем повествует Геродот. Пери [р. 42] андер, как говорят, предал смерти свою жену Мелиссу, дочь Проклеса, деспота Эпидавра; его сын Ликофрон, узнав об этом поступке, воспылил к нему неизлечимой антипатией. После тщетных попыток, как суровыми, так и примирительными мерами, покорить это чувство сына, Периандр отправил его жить в Коркиру, которая тогда находилась под его властью; но когда он обнаружил, что состарился и стал инвалидом, он отозвал его в Коринф, чтобы гарантировать продолжение династии. Ликофрон по-прежнему упорно отказывался от личного общения с отцом, и тогда тот попросил его приехать в Коринф, а сам отправился на Коркиру. Коркиряне были так напуганы мыслью о визите этого грозного старика, что предали Ликофрона смерти, за что Периандр отомстил, схватив триста юношей из самых знатных семей и отправив их к лидийскому царю Аляттесу в Сарды, чтобы тот кастрировал их и заставил служить евнухами. Коринфские корабли, на которых были отправлены юноши, к счастью, по пути зашли на Самос, где саамитяне и книйяне, потрясенные таким поступком, возмущившим все эллинские чувства, сумели спасти юношей от пред-

назначенной им жалкой участи и после смерти Периандра отправили их обратно на родной остров [58].

С неудовольствием отворачиваясь от политической жизни этого человека, мы в то же время знакомимся с огромными масштабами его власти, превосходящей ту, которой когда-либо обладал Коринф после прекращения его династии. Коркира, Амбракия, Леука и Анакториум, все коринфские колонии, но в следующем веке ставшие независимыми государствами, в его время оказываются зависимыми от Коринфа. Амбракия, как говорят, находилась под властью другого деспота по имени Периандр, вероятно, тоже кипселида по происхождению. Похоже, что города Анакторий, Леукас и Аполлония в Ионическом заливе были либо основаны Кипселидами, либо получили подкрепление из коринфских колонистов во время их правления, хотя Коркира была основана значительно раньше [59].

[с. 43] Правление Периандра продолжалось сорок лет (625—585 гг. до н. э.): Псамметих, сын Гордия, сменивший его, царствовал три года, и на этом династия Кипселидов, как говорят, завершилась, просуществовав семьдесят три года. [60] По могуществу, пышности и широким связям как в Азии, так и в Италии они, очевидно, занимали высокое место среди греков своего времени. Их приношения, освященные в Олимпии, вызывали большое восхищение, особенно позолоченная колоссальная статуя Зевса и большой сундук из кедрового дерева, посвященный храму Геры, покрытый различными фигурами из золота и слоновой кости: фигуры были заимствованы из мифических и легендарных историй, а сундук был памятью как имени Кипсела, так и истории о его чудесном сохранении в младенчестве. [Если Плутарх прав, то эта могущественная династия должна быть причислена к деспотам, свергнутым Спартой; [62] однако такое вмешательство спартанцев, если допустить, что оно было фактическим, вряд ли было известно Геродоту.

Совпадая по времени с началом правления Периандра в Коринфе, мы находим Феагенеса деспотом в Мегаре, который, как говорят, также приобрел свою власть демагогическими искусствами, а также жестокими нападениями на богатых владельцев, чей скот он уничтожал на пастбищах у берега реки. Мы не знаем, каким предыдущим поведением богачей была вызвана эта ненависть народа, но Феагенес полностью увлек народные чувства за собой, получил путем общественного голосования корпус стражников якобы для своей личной безопасности и использовал их для свержения олигархии. [63] Но ему не удалось сохранить свою власть даже ради собственной жизни: Вторая революция свергла и изгнала его; по этому случаю, после короткого промежутка умеренного правления, народ, как говорят, возобновил в еще более заметной форме свою антипатию к богачам; изгнал некоторых из них с конфискацией имущества, вторгся в дома других с требованиями принудительного гостеприимства и даже принял официальный указ о палинтокии, чтобы потребовать от богачей, ссудивших деньги под проценты, возврата всех прошлых процентов, выплаченных им их должниками. [64] Чтобы правильно оценить такое требование, мы должны помнить, что практика взимания процентов за одолженные деньги рассматривалась значительной частью раннего античного общества с чувством безоговорочного осуждения; и мы увидим, когда перейдем к законодательству Солона, насколько такие бурные реакционные чувства против кредитора были спровоцированы предшествующим действием сурового закона, определяющего его права.

В общих чертах мы слышим о более чем одной революции в правительстве Мегары – беспорядочной демократии, низвергнутой вернувшимися олигархическими изгнанниками, которые снова не смогли долго продержаться; [65] но мы в равной степени не осведомлены о датах и деталях. Что же касается одной из этих битв, то нам доступны излияния современника и страдальца – мегарийского поэта Феогниса. К сожалению, его элегические стихи в том виде, в котором они дошли до нас, настолько разорваны, бессвязны и интерполированы, что мы не можем составить четкого представления о событиях, которые их вызвали, и тем более не можем обнаружить в стихах Феогниса ту силу и особенность чисто дорийского чувства, которую, начи-

ная с публикации «Истории дорийцев» О. Мюллера, стало модно так активно искать. Но мы видим, что поэт был связан с олигархией, родовой, а не богатой, которая недавно была низвергнута в результате проникновения в нее деревенского населения, ранее подвластного и деградировавшего, – что эти подданные были довольны подчиниться одноглавому деспоту, чтобы спастись от своих прежних правителей, – и что сам Феогнис был предан своими друзьями и товарищами, лишен своего имущества и сослан по вине «врагов, кровь которых он надеется однажды получить возможность пить». « [66] Состояние подданных-земледельцев до этой революции он изображает в печальных красках; они «жили за городом, одетые в козьи шкуры, и не знали ни судебных санкций, ни законов» [67], после нее они стали гражданами, и их значение значительно возросло. И вот, по его впечатлению, мерзкая порода попирает благородную, – плохие становятся хозяевами, а хорошие больше не имеют никакого значения. Горечь и унижение, которые сопровождают бедность, и неоправданное превосходство, которое богатство дает даже самым ничемным из людей, [68] являются одними из главных предметов его жалоб, и одного его острого личного чувства в этом вопросе достаточно, чтобы показать, что недавняя революция ни в коей мере не отменила влияния собственности; вопреки мнению Велькера, который безосновательно заключает из отрывка с неопределенным смыслом, что земля государства была формально разделена. [69] [р. 46] Мегарская революция, насколько мы понимаем ее из слов Феогниса, похоже, существенно улучшила положение земледельцев вокруг города и усилила определенный класс, который он считает «плохими богачами», – в то же время она уничтожила привилегии того правящего порядка, к которому он сам принадлежал, называемого на его языке «хорошими и добродетельными», что губительно сказалось на его собственном состоянии. Насколько этот правящий порядок был исключительно дорийским, мы не можем определить. Политические перемены, от которых пострадал Теог [р. 47] нис, и новый деспот, которого он называет либо уже установленным, либо почти надвигающимся, должны были произойти значительно позже деспотии Феагенеса; ведь жизнь поэта, похоже, приходится на период между 570—490 гг. до н. э., В то время как Теагенес, должно быть, правил около 630—600 гг. до н. э. Из неблагоприятной картины, которую поэт дает в качестве своего собственного раннего опыта о состоянии сельских земледельцев, очевидно, что деспот Теагенес не предоставил им никаких постоянных льгот и не дал им доступа к судебной защите города.

Таким образом, деспоты Коринфа, Сикиона и Мегары служат образцами тех революционных влияний, которые в начале VI века до н. э., похоже, поколебали или опрокинули олигархические правительства в очень многих городах греческого мира. Между деспотами Коринфа и Сикиона существовала определенная симпатия и союз: [70] насколько это чувство распространялось на Мегару, мы не знаем. Последний город, очевидно, был более густонаселенным и могущественным в седьмом и шестом веках до нашей эры, чем в последующие два блестящих века греческой истории: ее колонии, расположенные так далеко, как Вифиния и фракийский Босфор с одной стороны, и как Сицилия с другой, утверждают, что масштабы торговли, а также военно-морская сила когда-то не уступали Афинам: так что мы будем менее удивлены, когда подойдем к жизни Солона, обнаружив ее во владении островом Саламином и долго удерживающей его, в одно время со всеми обещаниями триумфа, против всех сил афинян. [р. 48]

Глава X. ИОНИЙСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЛАДЫ. – АФИНЫ ДО СОЛОНА.

Проследив в предыдущих главах скудный поток истории Пелопоннеса от первого начала достоверной хронологии в 776 г. до н. э. до максимума территориальных приобретений Спарты и всеобщего признания спартанского первенства до 547 г. до н. э., я перехожу к изложению того, что можно установить относительно ионийской части Эллады в тот же период. Эта часть включает Афины и Эвбею, Кикладские острова, а также ионийские города на побережье Малой Азии с их различными колониями.

В случае с Пелопоннесом нам удалось разглядеть нечто вроде порядка реальных событий в указанный период – Спарта делает большие успехи, в то время как Аргос приходит в упадок. В случае с Афинами, к сожалению, наши материалы менее информативны. Число исторических фактов, предшествующих законодательству Солон, очень невелико; промежуток между 776 г. до н. э. и 624 г. до н. э., эпохой законодательства Драконта незадолго до попытки узурпации Килон, дает нам лишь список архонтов, лишенных всяких событий.

В знак уважения к героизму Кодра, пожертвовавшего своей жизнью ради безопасности страны, нам сообщают, что после него никому не разрешалось носить титул царя: [71] его сын Медонт и двенадцать преемников – Акаст, Архипп, Терсипп, Форбант, Мегакл, Диогнет, Ферекл, Арифрон, Теспий, Агаместор, Эсхил и Алкмеон – все были пожизненными архонтами. На втором году правления Алкмеона (752 г. до н. э.) срок архонства был ограничен десятью годами: и семь таких десятилетних архонтов перечислены – Хароп, Эсимид, Клидик, Гиппомен, Леократ, Апсандр, Эриксий. При Креоне, сменившем Эриксия, архонство стало не только ежегодным, но и коллегиальным, распределяясь между девятью лицами; и эти девять архонтов, ежегодно сменяемые, сохраняются на протяжении всего исторического периода, прерываясь лишь немногими периодами политических смут и внешнего давления. Вплоть до Клидика и Гиппомена (714 г. до н. э.) звание архонта принадлежало исключительно Медонтидам, потомкам Медонта и Кодра: [72] в тот период оно стало доступно всем эвпатридам, то есть знатному сословию государства.

Такова последовательность имен, по которым мы спускаемся с уровня легенд к уровню истории. Все наши исторические знания об Афинах ограничиваются периодом ежегодных архонтов; этот список эпонимных архонтов, начиная с Креона, полностью достоверен. [73] До 683 г. до н. э. аттические антиквариисты предоставили нам ряд имен, которые мы должны принимать как есть, не имея возможности ни подтвердить их все, ни отделить ложное от истинного. Нет оснований сомневаться в общем факте, что Афины, как и многие другие общины Греции, в древнейшие времена управлялись наследственной линией царей и что они перешли от этой формы правления к республике, сначала олигархической, затем демократической.

Мы не в состоянии определить гражданскую классификацию и политическое устройство Атики даже в период архонства Креона (683 г. до н. э.), когда начинается достоверная афинская хронология, – тем более не можем претендовать на знание предшествующих веков. Великие политические перемены были введены сначала Солоном (около 594 г. до н. э.), затем Клисфеном (509 г. до н. э.), а позже Аристидом, Периклом и Эфиальтом между Персидской и Пелопоннесской войнами: так что старый дополоновский – да даже подлинно солоновский – строй постепенно устаревал и забывался. Но вся информация, которой мы располагаем об этом древнем устройстве, происходит от авторов, живших после всех или большинства этих великих перемен, – и которые, не находя записей или чего-либо лучше текущих легенд, объясняли прошлое, как могли, более или менее остроумными догадками, обычно привязанными к господствующим легендарным именам. Иногда они могли основывать свои выводы

на религиозных обычаях, периодических церемониях или общих жертвоприношениях, сохранившихся в их время; и это, несомненно, были лучшие свидетельства об афинской древности, поскольку такие практики часто оставались неизменными при всех политических переменах. Только таким образом мы приходим к частичному знанию дополоновского состояния Аттики, хотя в целом оно остается темным и непонятным даже после многих разъяснений современных комментаторов.

Филохор, писавший в III веке до нашей эры, утверждал, что Кекроп первоначально разделил Аттику на двенадцать округов: Кекропия, Тетраполис, Эпакрия, Деделея, Элевсин, Афида, Торик, Браврон, Кифер, Сфетт, Кефисия и Фалер – и что эти двенадцать округов были объединены в одно политическое общество Тесеем. [74] Это деление не включает Мегариду, которая, согласно другим источникам, была объединена с Аттикой и входила в раздел, произведенный царем Пандионом между его четырьмя сыновьями: Нисом, Эгеем, Паллантом и Ликом – история, восходящая по меньшей мере к Софоклу. [75] В других источниках встречается четверное деление фил, которые, как утверждается, были четырехчленными, начиная с Кекропа, и в его время назывались Кекропида, Автохтон, Актая и Паралия. При царе Кранае, как сообщается, эти филы получили имена Кранаида, Аттида, Месогея и Диакрия, [76] – при Эрихтонии они назывались Диада, Атенаида, Посейдониада и Гефестиада; наконец, вскоре после Эрехтея они были переименованы по именам четырех сыновей Иона (сына Креусы, дочери Эрехтея, от Аполлона): Гелеонты, Гоплиты, Эгикореи и Аргадеи. Четыре аттические, или ионийские, филы под этими последними названиями [с. 51] сохраняли свою классификацию граждан вплоть до реформы Клисфена в 509 г. до н. э., когда были введены десять фил, существовавшие вплоть до периода македонского господства. Утверждается, и не без этимологического правдоподобия, что названия этих четырех фил изначально должны были отсылать к занятиям тех, кто их носил: Гоплиты были воинами, Эгикореи – козопасами, Аргадеи – ремесленниками, а Гелеонты (Телеонты, или Гедееонты) – земледельцами. На этом основании некоторые авторы приписывали древним жителям Аттики [77] действительное изначальное разделение на наследственные профессии, или касты, подобное существовавшему в Индии и Египте. Даже если допустить, что такое деление на касты могло первоначально существовать, оно должно было устареть задолго до времени Солона. Однако нет достаточных оснований полагать, что оно вообще когда-либо существовало. Названия фил могли быть заимствованы из определенных профессий, но из этого не обязательно следует, что реальность соответствовала этому происхождению или что каждый, принадлежавший к какой-либо филе, был представителем профессии, от которой произошло название. На основании одной лишь этимологии, сколь бы ясной она ни была, нельзя с уверенностью утверждать историческую реальность классификации по профессиям. И это возражение (которое было бы весомым даже при ясной этимологии) становится неопровержимым, если добавить, что сама этимология небесспорна; [78] что сами имена записывались с вариациями, которые невозможно согласовать; и что четыре профессии, названные Страбоном, исключают козопасов и [с. 52] включают жрецов, тогда как у Плутарха, наоборот, жрецы опущены, а козопасы упомянуты. [79]

Достоверно лишь то, что это были четыре древние ионийские филы – аналогичные дорийским Гиллеям, Памфилам и Диманам – которые существовали не только в Афинах, но и в ряде ионийских городов, происходивших от Афин. Гелеонты упоминаются в сохранившихся надписях из Теоса в Ионии, а все четыре филы названы в надписях из Кизика в Пропонтиде, основанного ионийским Милетом. [80] Таким образом, четыре филы и четыре названия (с учетом некоторых вариаций в прочтении) исторически подтверждены; однако ни время их появления, ни их изначальное значение не являются достоверными фактами, и нельзя доверять различным интерпретациям легенд об Ионе, Эрехтее и Кекропе, предлагаемым современными комментаторами.

Эти четыре филы можно рассматривать либо как религиозные и социальные объединения, в которых каждая включала три фратрии и девяносто родов, либо как политические объединения, в которых каждая состояла из трех триттий и двенадцати навкрарий. Каждая фратрия содержала тридцать родов, каждая триттия – четыре навкрарии; таким образом, общее число составляло триста шестьдесят родов и сорок восемь навкрарий. Более того, каждый род, как утверждается, включал тридцать глав семейств, так что общее их число составляло десять тысяч восемьсот.

Сравнивая эти два деления, можно заметить, что они различны по своей природе и движутся в противоположных направлениях. Триттия и навкрария являются по существу дробными подразделениями филы и опираются на филу как на высшее единство; навкрария – это территориальный округ, состоящий из навкраров, или главных домохозяев (как указывает этимология), которые взимают в своем округе причитающуюся ему долю общественных взносов и контролируют их расходование, обеспечивают военную силу, возложенную на округ, – а именно двух всадников и один корабль для каждой навкрарии, – а также поставляют главных окружных должностных лиц, пританов навкрарий. [81] Вероятно, можно предположить, что определенное количество пехотинцев, варьирующееся в зависимости от потребностей, сопровождало этих всадников, но их квота не указана, так как, возможно, считалось излишним точно ограничивать обязательства всех, кроме более состоятельных людей, служивших в коннице, – в период, когда олигархическое господство было всесильным, а основная масса населения находилась в состоянии сравнительного подчинения. Таким образом, сорок восемь навкрарий представляют собой систематическое подразделение четырех фил, охватывающее в целом всю территорию, население, взносы и военную силу Аттики – подразделение, созданное исключительно для целей, связанных со всем государством.

Вот перевод текста на русский с сохранением всех указанных цифр в квадратных скобках:

Но фратрии и роды представляют собой совершенно иную систему распределения. Они, по-видимому, являются объединением мелких первобытных единиц в более крупные; они независимы от племени и не предполагают его существования; они возникают отдельно и спонтанно, без предварительной унификации и без связи с общей политической целью [р. 54]; законодатель находит их уже существующими и адаптирует или изменяет их для соответствия какому-либо национальному плану. Мы должны различать сам факт классификации и последовательное подчинение в иерархии – семей роду, родов фратрии, а фратрий племени, – от точной числовой симметрии, которая, как мы читаем, присуща этой системе: тридцать семей в роде, тридцать родов во фратрии, три фратрии в каждом племени. Если бы такое точное равенство чисел когда-либо было достигнуто законодательному принуждению [82], воздействующему на уже существующие естественные элементы, эти пропорции не могли бы сохраняться долго. Но мы вправе усомниться, существовало ли это вообще: это скорее похоже на фантазию автора, который представлял себе изначальное систематическое создание в доисторические времена, умножая количество дней в месяце на количество месяцев в году. Предположение, что каждая фратрия включала равное число родов, а каждый род – равное число семей, едва ли допустимо без более веских доказательств, чем те, что у нас есть. Но, оставляя в стороне эту сомнительную точность числовой шкалы, сами фратрии и роды были реальными, древними и устойчивыми объединениями среди афинского народа, понимание которых чрезвычайно важно. [83] Основой всего был дом, очаг или семья – из большего или меньшего их числа [р. 55] состоял род, или генос. Таким образом, этот род был кланом, септом или расширенным, отчасти искусственным братством, связанным:

1. Общими религиозными обрядами и исключительным правом священства в честь одного и того же бога, считавшегося первопредком и характеризовавшегося особым прозвищем.

2. Общим местом погребения.

3. Взаимными правами наследования имущества.
4. Взаимными обязательствами помощи, защиты и возмещения ущерба.
5. Взаимным правом и обязанностью вступать в брак в определённых случаях, особенно при наличии осиротевшей дочери или наследницы.
6. Владением, по крайней мере в некоторых случаях, общей собственностью, своим архонтом и казначеем.

Таковы были права и обязанности, характеризующие родовой союз: [84] фратриальный союз, объединявший несколько родов, был менее тесным, но всё же включал некоторые взаимные права и обязанности аналогичного характера, особенно общность определённых священных обрядов и взаимные права преследования в случае убийства фратора. Каждая фратрия считалась принадлежащей к одному из четырёх племён, и все фратрии одного племени участвовали в периодических совместных священных обрядах под председательством магистрата, называемого филобасилевсом, или царём племени, избиравшегося из эвпатридов; так, Зевс Гелеон был покровителем племени гелеонтов. Наконец, все четыре племени были связаны общим культом Аполлона Патрооса, их божественного отца и покровителя; ибо Аполлон был отцом Иона, а эпонимы всех четырёх племён считались его сыновьями.

Таков был изначальный религиозный и социальный союз населения Аттики в его постепенно восходящей иерархии – в отличие от политического союза, вероятно, более позднего происхождения, представленного сначала триттиями и наукрапиями, а впоследствии десятью клейсфеновскими филами, подразделёнными на триттии и демы. Религиозная и родовая связь является более ранней из двух: но политическая связь, хотя и возникшая позже, [р. 56] приобретала, как мы увидим, всё большее влияние на протяжении большей части этой истории. В первой личные отношения являются сущностной и преобладающей характеристикой, [85] – а местные связи второстепенны: во второй собственность и место жительства становятся главными критериями, а личный элемент учитывается лишь в связи с ними. Все эти фратриальные и родовые объединения, как крупные, так и мелкие, основывались на одних и тех же принципах и тенденциях греческого мышления, [86] – слиянии идеи поклонения с идеей происхождения или общности в определённых религиозных обрядах с общностью крови, реальной или предполагаемой. Бог или герой, которому собравшиеся члены приносили жертвы, считался их первопредком, от которого они вели своё происхождение; часто через длинный список промежуточных имён, как в случае с Милетским Гекатеем, на которого мы так часто ссылались. [87] Каждая семья [р. 57] имела свои собственные священные обряды и поминальные церемонии в честь предков, совершаемые главой дома, на которые допускались только члены семьи: вымирание семьи, влекущее за собой прекращение этих религиозных обрядов, рассматривалось греками как несчастье не только из-за потери граждан, её составлявших, но и потому, что семейные боги и души умерших граждан лишались почестей, [88] что могло навлечь на страну их гнев. Более крупные объединения, называемые родом, фратрией, племенем, формировались по тому же принципу – семья рассматривалась как религиозное братство, почитающее общего бога или героя с особым прозвищем и признающее его своим общим предком; а праздники Теоении и Апатурии [89] – первый аттический, второй общий для всех ионийцев, – ежегодно собирали членов этих фратрий и родов для совместного богослужения, празднеств и поддержания особых уз, укрепляя тем самым более широкие связи, не стирая при этом более узкие.

Таковы были проявления греческой общительности, как мы видим их в древнем устройстве не только Аттики, но и других греческих государств. Для Аристотеля и Дикеарха было интересно проследить, как всё политическое общество восходит к определённым предполагаемым элементарным единицам, и показать, какими мотивами и средствами первоначальные семьи, каждая со своим отдельным закромом и очагом, [90] объединялись в более крупные образования. Но историк должен принимать как данность самое раннее состояние, о котором

ему сообщают источники; и в данном случае родовые и фратриальные союзы – это реалии, истоки которых мы не можем даже пытаться постичь.

Поллукс (вероятно, из утраченного труда Аристотеля о Государственном устройстве Греции) сообщает нам вполне определённо, что члены одного и того же рода в Афинах обычно не были связаны кровным родством, – и даже без прямых свидетельств мы могли бы прийти к такому выводу. Насколько род в неизвестную эпоху своего возникновения основывался на действительном родстве, мы не можем определить ни в отношении афинских, ни римских родов, которые были аналогичны во всех основных чертах. Родство (*gentilism*) – это особая связь, отличная от семейных уз, но предполагающая их существование и расширяющая их посредством искусственной аналогии, отчасти основанной на религиозной вере, отчасти на формальном договоре, так что в неё включались и чужие по крови. Все члены одного рода или даже одной фратрии считали себя происходящими не от одного деда или прадеда, а от одного божественного или героического предка: все современные члены фратрии Гека-тея имели общего бога-предка в шестнадцатом колене; и это основополагающее убеждение, так легко укоренившееся в греческом сознании, было принято и преобразовано формальным соглашением в родовой и фратриальный принцип единства. Именно потому, что такое смешение, не признаваемое христианством, противоречит современному образу мысли, и потому, что нам трудно понять, как подобная юридическая и религиозная фикция могла глубоко проникнуть в греческие представления, фратрии и роды кажутся нам загадочными. Однако они вполне согласуются со всеми легендарными генеалогиями, изложенными в предыдущем томе.

Несомненно, Нибур в своём ценном исследовании древнеримских родов прав, предполагая, что они не были реальными семьями, происходящими от общего исторического предка. Но не менее верно и то (хотя он, кажется, думает иначе), что идея рода включала веру в общего первопредка, божественного или героического, – генеалогию, которую мы вправе назвать вымышленной, но которая была освящена и признавалась среди самих членов рода и служила важной связующей их узой. [91] И хотя аналитический ум, подобный Аристотелю, мог различать род и семью, считая первый порождением особого договора, это не является верным критерием для оценки обычных представлений ранних греков. Более того, не факт, что сам Аристотель, сын врача Никомаха, принадлежавшего к роду Асклепиадов, [92] согласился бы отрицать происхождение всех этих религиозных семей от общего предка без каких-либо исключений.

Естественные семьи, конечно, менялись от поколения к поколению: одни расширялись, другие уменьшались или исчезали; но род оставался неизменным, за исключением случаев рождения, вымирания или разделения входящих в него семей. Таким образом, отношения между семьями и родом постоянно колебались, и родовая генеалогия, несомненно соответствовавшая первоначальному состоянию рода, со временем частично устаревала и становилась непригодной. Мы редко слышим об этой генеалогии, потому что она упоминается лишь в особо значимых и почитаемых случаях. Но и менее знатные роды имели свои общие обряды, общего сверхъестественного предка и генеалогию, как и более прославленные: схема и идеальная основа были одинаковы для всех.

Аналогии, заимствованные у самых разных народов и из разных частей света, показывают, насколько легко эти расширенные и искусственные семейные союзы сочетаются с представлениями раннего общества. Горные кланы Шотландии, ирландские септы, [93] древние юридически оформленные семьи во Фрисландии и Дитмаршене, фис или фара у албанцев – всё это примеры подобной практики. [94] Усыновление пленных у североамериканских индейцев, а также повсеместное распространение и значимость обряда усыновления в греко-римском мире демонстрируют нам торжественный ритуал, который при определённых обстоятельствах порождал связь и привязанность, подобные кровным узам.

Фратрии и роды в Афинах, курии и роды в Риме были того же характера, но они особенно видоизменялись религиозным воображением древнего мира, всегда возводившего прошлое к богам и героям. Таким образом, религия давала и общую генеалогию как их основу, и привилегированное участие в особых священных обрядах как средство увековечивания памяти. Роды как в Афинах, так и в других частях Греции носили патронимические названия – отпечаток их предполагаемого общего происхождения: мы встречаем Асклепиадов во многих областях Греции, Алевадов в Фессалии, Медилидов, Псалихидов, Блепсиадов, Евксенидов на Эгине, Бранхидов в Милете, Небридов на Косе, Иамидов и Клитиадов в Олимпии, Акторидов в Аргосе, Кинирадов на Кипре, Пенфилидов в Митилене, [95] Талфибиадов в Спарте – не меньше, чем Кодридов, Эвмолпидов, Фитилидов, Ликомедов, Бутадов, Эвнейдов, Гесихидов, Бритиадов и др. в Аттике. [96] Каждому из них соответствовал более или менее известный мифический предок, считавшийся прародителем и эпонимом рода – Кодр, Эвмолп, Бут, Фитал, Гесих и т. д.

Реформа Клисфена в 509 г. до н. э. упразднила старые филы для гражданских целей и создала десять новых фил, оставив фратрии и роды неизменными, но введя территориальное деление по демам (округам) как основу новых политических фил. Определённое число демов входило в каждую из десяти клисфеновских фил (демы в одной филе обычно не были смежными, так что филла не совпадала с чёткой территорией), и дем, в котором был зарегистрирован человек, оставался демом его потомков. Однако роды как таковые не были связаны с этими новыми филлами, и члены одного рода могли принадлежать к разным демам. [97] Однако стоит отметить, что в старом устройстве Аттики деление на роды до некоторой степени совпадало с делением на демы: нередко члены одного рода (геннеты) жили в одном округе, так что название рода и дема совпадали. Более того, Клисфен, по-видимому, признал некоторое число новых демов, дав им названия, производные от важных родов, проживавших поблизости. Этим объясняется большое количество клисфеновских демов с патронимическими названиями. [98]

[стр. 64] Между римским и греческим родом существует одно важное различие, протекающее из разницы в практике именования. Римский патриций обычно носил три имени – родовое имя, за которым следовало имя его семьи, а перед ним – личное имя, уникальное для него в рамках этой семьи. Однако в Афинах, по крайней мере после реформ Клисфена, родовое имя не использовалось: человека обозначали его личным именем, за которым следовало имя отца и название дема, к которому он принадлежал, – например, «Эсхин, сын Атромета, из дема Котокиды». Такое различие в системе именования делало родовую связь более очевидной для римлян, чем для жителей греческих городов.

До введения Солоном имущественного деления аттического населения фратрии и роды, а также триттии и навкратрии были единственными признанными объединениями среди них и единственной основой юридических прав и обязанностей помимо естественной семьи. Род представлял собой тесную корпорацию как в отношении собственности, так и в отношении личных связей. До времён Солона никто не имел права завещательного распоряжения: если человек умирал бездетным, его имущество переходило к родичам [99], и даже после Солона они сохраняли это право, если умерший не оставил завещания. Сироту-девушку мог по праву потребовать в жёны любой член рода, при этом предпочтение отдавалось ближайшим агнатам [100]. Если она была бедна, и сородич не желал жениться на ней сам, закон Солона обязывал его обеспечить её приданым, пропорциональным его имущественному статусу, и выдать её замуж за другого. Размер требуемого приданого – значительный даже по меркам Солона и впоследствии удвоенный – свидетельствует о том, что законодатель косвенно стремился поощрять реальные браки [101]. Если человека убивали, его ближайшие родственники, а затем родичи и фраторы имели не только право, но и обязанность возбуждать судебное преследование [102]. Его демоны, то есть [стр. 66] жители того же дема, не обладали аналогичным правом. Всё, что

мы знаем о древнейших афинских законах, основано на родовом и фратриальном делении, которое повсеместно рассматривалось как расширение семьи. Примечательно, что это деление совершенно не зависело от имущественного ценза – и богатые, и бедные входили в один и тот же род [103].

Более того, разные роды сильно различались по степени знатности, что в основном проистекало из религиозных обрядов, которые каждый из них наследственно и исключительно отправлял. Некоторые из этих обрядов считались особо священными для всего города и потому приобретали общегосударственное значение. Так, Эвмолпиды и Керики, поставлявшие иерофанта и руководившие Элевсинскими мистериями Деметры, а также Бутады, дававшие жрицу Афины Полиады и жреца Посейдона Эрехтея на акрополе, почитались выше всех прочих родов [104]. Когда в ходе реформ Клисфена название «Бутады» было присвоено дему, священный род принял отличительное имя Этеобутады, то есть «Истинные Бутады» [105].

Нам известно множество названий древних аттических родов, но лишь одна фратрия (Ахнииады) сохранила своё имя в истории [106]. Эти фратрии и роды, вероятно, никогда не охватывали всё население страны, и доля тех, кто не входил в них, постепенно увеличивалась как до Клисфена [107], так и после. При его конституции и в последующей истории они оставались религиозными квазисемьями или корпорациями, дававшими права и налагавшими обязанности, которые защищались в обычных дикастериях, но не были напрямую связаны с гражданством или политическими функциями: человек [стр. 68] мог быть гражданином, не будучи записанным ни в один род. Сорок восемь навкрарий утратили своё значение при его устройстве: дем, а не навкрария, стал элементарной политической единицей для военных и финансовых целей, а демарх заменил навкрайра в качестве местного администратора. Однако дем не совпадал с навкрарией, а демарх – с прежним главой навкрарии, хотя они были аналогичны и создавались для схожих целей [108]. Если навкрарий было всего сорок восемь, то демы образовывали более мелкие подразделения, и в более поздние времена их насчитывалось не менее ста семидесяти четырёх [109].

Хотя это древнее четырёхчастное деление на филы в целом понятно, сложно согласовать его с той раздробленностью управления, которая, как мы знаем, изначально преобладала среди жителей Аттики. От Кекропа до Тесея, пишет Фукидид, в Аттике существовало множество отдельных городов, каждый из которых был автономен и самоуправляем, имел свой пританей и своих архонтов; и лишь в случае общей опасности эти общины собирались на совет под властью афинских царей, чей город в те времена ограничивался лишь священной скалой Афины на равнине [110] – впоследствии ставшей акрополем разросшихся Афин – и небольшой территорией к югу от неё. Именно Тесей, по его словам, осуществил великую революцию, объединив всю Аттику под одной властью, так что все местные магистратуры и советы стали подчиняться пританею и совету Афин. Его мудрость и сила заставили всех жителей Аттики признать Афины единственным городом страны, а свои поселения – лишь составными частями афинской территории. Это важное событие, естественно, привело к расширению центрального города и в исторические времена сомметогровалося афинянами на празднике Синойкии в честь богини Афины [111].

Вот рассказ Фукидида о первоначальной раздробленности и последующем объединении различных частей Аттики. В общих чертах факт не вызывает сомнений, хотя указанная историком движущая сила – могущество и мудрость Тесея – относится к легенде, а не к истории. Мы также не можем точно определить ни реальные этапы этого преобразования, ни его дату, ни количество частей, из которых сложилась зрелая Афинская держава, – дополнительно расширенная в ранний период (хотя неизвестно когда) добровольным присоединением беотийского или полубеотийского города Элевфер, расположенного в долинах Киферона между Элевсином и Платеями.

Вплоть до Пелопоннесской войны [112] жители Аттики сохраняли обычай селиться в своих отдельных областях (демах), где древние праздники и храмы оставались реликтами прежней автономии. Они посещали город лишь по особым случаям – для религиозных или политических целей [стр. 70], продолжая считать сельское жилище своим настоящим домом. Глубина этой региональной привязанности видна из того, что она пережила временное изгнание во время персидского нашествия и возродилась, когда изгнание захватчиков позволило им восстановить разрушенные жилища в Аттике [113].

Сколько из демов, признанных Клисфеном, изначально имели самостоятельное управление или в какие территориальные объединения они входили, теперь установить невозможно. Следует помнить, что сам город Афины включал несколько демов, а Пирей также был отдельным демом. Некоторые из двенадцати частей, которые Филохор приписывает Кекропу, носят следы древней самостоятельности: Кекропия (регион вокруг и включая город и акрополь); Тетраполис (состоявший из Энои, Трикорифона, Пробалинга и Марафона) [114]; Элевсин; Афинны и Декелея [115], отмеченные особыми мифическими связями со Спартой и Диоскурами. Однако трудно представить, что Фалер (один из отдельных округов по Филохору) когда-либо был автономен от Афин. Более того, среди некоторых демов, не упомянутых Филохором, встречаются свидетельства [стр. 71] устойчивой вражды и запретов на межбрачия, что может указывать на их прежнюю независимость [116].

Хотя в большинстве случаев легенды и религиозные обряды, уникальные для каждого дема [117], мало что проясняют, в случае Элевсина они настолько примечательны, что подтверждают вероятную автономию этого города вплоть до относительно позднего периода. Гомеровский гимн Деметре, повествующий о посещении богиней Элевсина после похищения её дочери и об учреждении Элевсинских мистерий, называет эпонимного князя Элевсина и местных вождей – Келея, Триптолема, Диокла и Евмолпа. В нём также упоминается Рарийская равнина близ Элевсина, но нет ни малейшего намёка на Афины или участие афинян в культах богини. Есть основания полагать, что во время создания этого гимна Элевсин был независимым городом. Точную дату установить невозможно, хотя Фосс относит её к 30-й Олимпиаде [118]. Это доказательство тем ценнее, что гимн Деметре имеет строго локальный колорит. Кроме того, рассказ Солона Крёзу о афинянине Телле, погибшем в битве с элевсинцами [119], также предполагает их раннюю независимость.

Небезынтересно отметить, что даже около 300 г. до н. э. наблюдательный Дикеарх отмечал различия между коренными афинянами и аттиками – как в чертах лица, так и в характере и вкусах [120].

В изложенной истории деяний Тесея нет упоминания о четырёх ионийских филах; вместо этого нам сообщается о совершенно ином делении народа на эвпатридов, геоморов и демургов, которое он якобы ввёл. Дионисий Галикарнасский приводит лишь двойное деление – эвпатриды и зависимые земледельцы, аналогичное его представлению о патрициях и клиентах в раннем Риме [121]. Насколько можно понять, это тройное деление не связано с упомянутыми четырьмя филами.

Эвпатриды – богатые и влиятельные люди, принадлежавшие к знатнейшим родам всех фил и в основном проживавшие в Афинах после объединения Аттики. Простонародье грубо делилось на земледельцев и ремесленников. Эвпатридам приписывалась религиозная, политическая и социальная власть; они считались источником авторитета в священных и мирских делах [122]. Вероятно, к ним относились такие роды, как Бутады, чьи обряды пользовались особым почтением. Можно представить Евмолпа, Келея, Диокла и других из гимна Деметре в качестве эвпатридов Элевсина. Более скромные роды и их члены в этой классификации смешивались с теми, кто не принадлежал ни к одному роду.

Из этих эвпатридов исключительно и, несомненно, по их выбору, назначались девять ежегодных архонтов – вероятно, также и пританы [р. 73] навкрарий. Естественно предполо-

жить, что совет ареопага состоял из членов того же сословия: все девять архонтов входили в него по истечении своего годовичного срока полномочий при условии успешного прохождения проверки отчётности и оставались его членами пожизненно. Это единственные политические власти, о которых мы слышим в самый ранний, плохо известный период афинского правления после упразднения царской власти и введения ежегодной смены архонтов. Совет ареопага, по-видимому, представляет собой гомеровский совет старейшин; [123] и, несомненно, в особых случаях созывались народные собрания, носившие такой же формальный и пассивный характер, как гомеровская агора, – по крайней мере, мы заметим следы таких собраний до законодательства Солона. Некоторые античные авторы приписывали создание ареопага Солону, подобно тому как были и те, кто считал, что Ликург впервые учредил спартанскую герусию. Однако едва ли можно сомневаться, что это ошибка, и что ареопаг – это древнейший институт, существовавший с незапамятных времён, хотя его состав и функции претерпели множество изменений. Изначально он был единственным постоянным коллегиальным органом власти, сначала существовавшим наряду с царями, а затем – с архонтами. Тогда, конечно, он был известен просто как Булэ – Совет; своё особое название, «Совет Ареопага», заимствованное от места заседаний, он получил лишь после того, как Солон создал второй совет, от которого его нужно было отличать.

Это, кажется, объясняет, почему он не упоминается в законах Драконта, и его молчание служило одним из аргументов в пользу мнения, что ареопаг не существовал в его время и был впервые учреждён Солоном. [124] Мы знаем ареопаг главным образом как судебный орган, потому что он действовал в этом качестве на протяжении всей афинской истории, а также потому что [р. 74] ораторы чаще всего упоминают его решения по судебным делам. Однако изначально его функции носили самый широкий совещательный характер, включая как руководящие, так и судебные полномочия. И хотя постепенное усиление демократии в Афинах, как будет объяснено далее, не только ограничило его власть, но и ещё больше снизило его значение в относительном плане, расширив прямое участие народа в собраниях и судах, а также роль Совета пятисот, который стал постоянным вспомогательным органом народного собрания, – тем не менее, даже вплоть до времени Перикла, ареопаг оставался важнейшим государственным институтом. И после того, как политические реформы этого великого мужа оттеснили его на второй план, мы всё ещё видим, как в отдельных случаях он выступает вперёд, чтобы вновь заявить о своих древних полномочиях и на время принять ту неограниченную власть, которой он безраздельно пользовался в древности. Приверженность афинян своим старинным институтам обеспечивала ареопагу постоянное и сильное влияние на их умы, и это чувство скорее усиливалось, чем ослабевало, когда он перестал быть объектом народной подозрительности – когда его уже нельзя было использовать как орудие олигархических притязаний.

Из девяти архонтов, число которых оставалось неизменным с 638 г. до н. э. и до конца свободной демократии, трое носили особые титулы: архонт-эпоним, по имени которого назывался год и которого именовали просто «Архонт»; архонт-басилевс (царь), или чаще просто «басилевс»; и полемарх. Остальные шесть носили общее название «фесмофеты». Первые трое обладали исключительной судебной компетенцией в определенных специальных вопросах; фесмофеты же в этом отношении были равны, действуя иногда коллегиально, а иногда индивидуально.

Архонт-эпоним разрешал все споры, касающиеся семейных, родовых и фратрических отношений; он был законным защитником сирот и вдов [125]. Архонт-басилевс, или царь-архонт, занимался жалобами на преступления против религиозных чувств и на убийства. Полемарх, если говорить о временах до Клизфена, был предводителем военных [стр. 75] сил и судьёй в спорах между гражданами и негражданами. Кроме того, каждому из этих трёх архонтов были поручены определённые религиозные праздники, которые он должен был курировать и проводить.

Шесть фесмофетов, судя по всему, выступали судьями в спорах и жалобах, в основном, между гражданами, за исключением особых вопросов, отнесённых к ведению первых двух архонтов. В точном смысле слова «фесмофеты», все девять архонтов могли так называться [126], хотя первые трое имели особые обозначения. Слово «фесмы», аналогичное «фемистам» [127] у Гомера, включает в себя как общие законы, так и частные приговоры – эти два понятия ещё не различались, и общий закон воспринимался только в применении к конкретному случаю. Драконт был первым фесмофетом, которого обязали записать свои фесм в письменной форме, придав им тем самым характер более или менее общего характера.

В более поздние и лучше известные времена афинского права мы видим, что эти архонты в значительной степени лишились своих судебных полномочий [стр. 76] и были ограничены задачей сначала выслушивать стороны и собирать доказательства, а затем передавать дело на рассмотрение в соответствующий дикастерий, над которым они председательствовали. Первоначально не было разделения властей: архонты и судили, и управляли, разделяя между собой привилегии, некогда сосредоточенные в руках царя, и, вероятно, отчитывались по окончании своего годовичного срока перед ареопагом. Вероятно также, что функции этого совета и функции пританов навкратов носили такой же двойственный и нечёткий характер.

Все эти должностные лица принадлежали к эвпатридам и, несомненно, действовали в узких интересах своего сословия. Более того, у архонтов был широкий простор для фаворитизма – как в виде попустительства, так и в виде предвзятости. То, что ситуация была именно такой и недовольство начало становиться серьёзным, можно заключить из обязанности, возложенной на фесмофета Драконта в 624 г. до н. э., – записать фесм, или постановления, чтобы они могли быть «обнародованы» и известны заранее [128]. Он не вмешивался в политическое устройство, и Аристотель находит в его постановлениях мало достойного внимания, кроме крайней суровости [129] назначаемых наказаний: за мелкие кражи или даже доказанное праздное существование полагались смерть или лишение гражданских прав.

Однако мы не должны понимать это замечание как свидетельство особой жестокости характера Драконта, который не обладал такими широкими полномочиями, как Солон впоследствии, и вряд ли мог навязать обществу суровые законы собственного изобретения. Будучи, конечно, эвпатридом, он изложил в письменной форме те постановления, которые эвпатридские архонты и раньше применяли без записи в конкретных случаях, доходивших до них. А дух уголовного законодательства за последующие два столетия стал настолько мягче, что эти старые постановления казались Аристотелю невыносимо суровыми. Вероятно, ни Драконт, ни локриец Залевк, живший несколько раньше, не были более жестокими, чем того требовали нравы эпохи.

Действительно, немногие сохранившиеся фрагменты таблиц Драконта, далёкие от слепой жестокости, впервые вводят в афинское право смягчающие обстоятельства в отношении убийства [130], основанные на различии сопутствующих факторов. Говорят, что он учредил судей-эфетов – пятьдесят одного старейшину, принадлежавшего к уважаемому роду или занимавшего высокое положение, которые проводили суды по делам об убийствах в трёх разных местах, в зависимости от характера рассматриваемых дел.

Если обвиняемый, признавая факт, отрицал умысел и ссылаясь на случайность, дело разбиралось в месте, называемом Палладием. При признании вины в неумышленном убийстве он приговаривался к временному изгнанию, если не мог примириться с родственниками убитого, но его имущество оставалось неприкосновенным. Если же, признавая факт, он приводил веские оправдательные доводы, такие как самооборона или прелюбодеяние убитого с его женой, суд происходил на земле, посвящённой Аполлону и Артемиде, – в Дельфинии.

Особое место под названием Фреаттида, близ морского берега, предназначалось для суда над лицом, которое, уже находясь в изгнании за неумышленное убийство, обвинялось в новом убийстве, совершённом, конечно, за пределами территории. Поскольку оно считалось

осквернённым предыдущим приговором, ему не разрешалось ступить на землю, и суд проходил на лодке, причаленной к берегу.

В самом пританее заседали четыре филобасилевса (племенных царя), чтобы судить любой неодушевлённый предмет (кусок дерева или камня и т. д.), ставший причиной смерти без доказанного участия человека. Если факт подтверждался, дерево или камень формально изгонялись за пределы границы [131]. Все эти различия, конечно, предполагали предварительное расследование дела (анакрисис) царём-архонтом, чтобы определить суть вопроса и место заседания эфетов.

Настолько тесно способ судопроизводства по делам об убийствах был связан [р. 79] с религиозными чувствами афинян, что эти древние установления так и не были формально отменены на протяжении всей исторической эпохи и были высечены на колонне, которую читали современники Демосфена. [132] Ареопаг продолжал функционировать как судебный орган, а об эфетах говорили, будто они действовали даже во времена Демосфена; хотя их полномочия были молчаливо узурпированы или ограничены, а их авторитет подорван [133] более демократичными дикастериями, созданными позднее. Именно благодаря этому они стали известны нам, в то время как остальные установления Драконта канули в Лету: но многое остаётся неясным в отношении них, особенно что касается связи между эфетами и ареопагитами. Действительно, даже историки Афин знали об этом так мало, что большинство из них полагало, будто совет ареопага впервые был учреждён Солоном: и даже Аристотель, хотя и противоречит этому мнению, выражается не слишком уверенно. [134] То, что судьи заседали на ареопаге для разбирательства дел об убийствах ещё до Драконта, подразумевается в его установлениях относительно эфетов, поскольку он не вводит новых правил для рассмотрения прямых случаев умышленного убийства, которые, согласно всем источникам, находились в ведении ареопага: но были ли эфеты и ареопагиты одними и теми же лицами – полностью или частично, – наши сведения слишком скудны, чтобы это выяснить. До Драконта не существовало никакого суда для разбирательства дел об убийствах, кроме заседающего на ареопаге совета, и мы можем предположить, что с этим местом было связано нечто – предания, [р. 80] обряды или религиозные чувства, – что заставляло судей, заседавших там, осуждать каждого, кто был признан виновным в убийстве, и запрещало им учитывать смягчающие или оправдывающие обстоятельства. [135] Драконт назначил эфетов заседать в разных местах; и эти места были так чётко обозначены и так неукоснительно соблюдались, что мы можем увидеть, насколько своеобразно, по афинским представлениям, те особые случаи убийства при определённых обстоятельствах, которые он отнёс к каждому из них, соответствовали новым священным местам, [136] каждое из которых имело свой особый обряд и процедуру, установленные самими богами. То, что религиозные чувства греков были самым тесным образом связаны с определёнными местами, уже неоднократно отмечалось; и Драконт действовал в соответствии с ними, вводя смягчения в безоговорочное осуждение каждого, кто был признан виновным в убийстве, что было неизбежно, пока ареопаг оставался единственным местом суда. Человек, который либо признавался, либо был уличен в пролитии крови другого, не мог быть оправдан или приговорён к меньшему наказанию (чем смерть или вечное изгнание с конфискацией имущества) судьями на холме Ареса, какие бы оправдания он ни приводил: но судьи в Палладиуме и Дельфиниуме могли выслушать его и даже принять его доводы, не навлекая на себя пятна нечестия. Драконт не вмешивался напрямую и даже не упоминал о судьях, заседающих в ареопаге.

Таким образом, в отношении убийств постановления Драконта частично реформировали уозость, а частично смягчали суровость старой процедуры; и только они дошли до нас, сохранившись неизменными благодаря религиозному почтению афинян к древности в этом особом вопросе. Остальные его постановления, как говорят, были отменены Солоном из-за их невыносимой суровости. Без сомнения, так они воспринимались афинянами более позднего времени,

которые стали [р. 81] оценивать преступления по иной шкале; да и самим Солоном, которому предстояло утишить гнев страдающего народа, уже поднявшего мятеж.

То, что при этой эвпатридской олигархии и суровом законодательстве народ Аттики был достаточно несчастен, мы вскоре увидим, когда я расскажу о действиях Солона: но эпоха демократии ещё не началась, и первое потрясение правительство испытало от рук честолюбивого эвпатрида, стремившегося к тирании. Такова была фаза, как отмечалось в предыдущей главе, через которую в течение рассматриваемого сейчас века прошла значительная часть греческих государств.

Килон, афинский патриций, который к знатному происхождению добавил личную славу победы на Олимпийских играх в двойном беге, задумал захватить акрополь и стать тираном. Произошло ли какое-то особое событие на родине, подтолкнувшее его к этому замыслу, мы не знаем: но он получил и поддержку, и ценную помощь от своего тестя Феагена Мегарского, который, пользуясь популярностью у народа, уже сверг мегарскую олигархию и стал тираном своего родного города. Однако перед столь рискованной попыткой Килон обратился к Дельфийскому оракулу и получил от бога совет воспользоваться для захвата акрополя «величайшим праздником Зевса». Такие слова, в их естественном толковании, принятом каждым греком, означали Олимпийские игры в Пелопоннесе – и для Килона, к тому же самого олимпийского победителя, это толкование казалось особенно уместным. Но Фукидид, не безразличный к авторитету оракула, напоминает читателям, что не был задан вопрос и не было дано прямого указания, где следует искать предполагаемый «величайший праздник Зевса» – в Аттике или в другом месте – и что общественный праздник Диасии, отмечаемый периодически и торжественно в окрестностях Афин, также назывался «величайшим праздником Зевса Мейлихия». Вероятно, подобные герменевтические сомнения никому не приходили в голову до жалкого провала заговора; меньше всего – самому Килону, который во время следующих Олимпийских игр возглавил отряд, частично предоставленный Феагеном, частично [р. 82] состоявший из его друзей на родине, и внезапно захватил священную скалу Афин. Но попытка вызвала всеобщее возмущение афинского народа, который стекался из сельской местности, чтобы помочь архонтам и пританам навкраров подавить её. Килон и его сообщники были блокированы в акрополе, где вскоре оказались в тяжёлом положении из-за нехватки воды и провизии; и хотя многие афиняне разошлись по домам, осаждающих осталось достаточно, чтобы довести заговорщиков до крайности. После того как сам Килон тайно бежал, а несколько его сообщников умерли от голода, остальные, потеряв всякую надежду на защиту, сели как умоляющие у алтаря. Архонт Мегакл, вернувшись в цитадель, обнаружил этих умоляющих на грани смерти от голода на священной земле и, чтобы предотвратить такое осквернение, уговорил их покинуть место, пообещав сохранить им жизнь. Однако, как только их вывели на обычную землю, обещание было нарушено, и они были казнены: некоторые же, видя уготованную им участь, попытались укрыться у алтаря почтенных богинь, или эвменид, близ ареопага, но всё равно получили смертельные ранения, несмотря на неприкосновенность этого убежища. [137]

Хотя заговор был таким образом подавлен, а правительство удержало власть, эти прискорбные события повлекли за собой длинную цепь бедствий – глубокое религиозное раскаяние, смешанное с обострённой политической враждой. Осталось, если не значительное килонское движение, то по крайней мере множество людей, возмущённых тем, как были казнены сторонники Килона, и ставших вследствие этого злейшими врагами архонта Мегакла и могущественного рода Алкмеонидов, к которому он принадлежал. Не только сам Мегакл и его ближайшие соратники были объявлены проклятыми, но эта скверна, как считалось, перешла и на его потомков, и в дальнейшем мы увидим, что рана вновь открывалась не только во втором и третьем поколении, но даже спустя два века после самого события. [138]

Учитывая, насколько глубоким оказалось впечатление от этих событий, [стр. 83] даже по прошествии долгого времени, можно легко поверить, что сразу после случившегося они

полностью отравили спокойствие государства. Алкмеониды и их сторонники долго сопротивлялись своим противникам, отвергая любой публичный суд, – и раздоры продолжались без надежды на разрешение, пока Солон, уже тогда пользовавшийся высоким авторитетом за мудрость, патриотизм и храбрость, не убедил их подчиниться судебному разбирательству – настолько отдалённому от самих событий, что многие участники уже умерли.

Их судили перед особым судом из трёхсот эвпатридов, а обвинителем выступил Мирон из дема Флии. Защищаясь от обвинения в кощунстве против богов и нарушении права убежища, они утверждали, что килоновы suppliants, убеждённые покинуть священную землю, привязали верёвку к статуе богини и держались за неё для защиты по пути. Но когда они приблизились к алтарю эвменид, верёвка неожиданно порвалась – и это роковое событие, как доказывали обвиняемые, свидетельствовало о том, что сама богиня лишила их своей защиты и предала их судьбе. [139]

Однако этот довод, примечательный как иллюстрация духа того времени, не был принят в качестве оправдания: их признали виновными, и те, кто ещё оставался в живых, отправились в изгнание, а уже умершие были выкопаны из могил и выброшены за пределы Аттики. Но даже их изгнание, пусть и временное, не сочли достаточным искуплением за нечестие, в котором их обвинили. Алкмеониды, один из самых влиятельных родов Аттики, ещё долго считались запятнанными, [140] и во времена [стр. 84] общественных бедствий их могли обвинить в том, что именно их святотатство навлекло гнев богов на сограждан. [141]

Изгнание виновных, однако, не смогло полностью восстановить спокойствие. Не только свирепствовали болезни, но и религиозные чувства афинян оставались в угнетённом состоянии: они пребывали в скорби и унынии, видели призраков, слышали сверхъестественные угрозы и чувствовали, что проклятие богов по-прежнему тяготеет над ними. [142] В особенности, по-видимому, были возбуждены и охвачены безумием женщины – чьи религиозные порывы, как признавали древние законодатели, требовали особого контроля.

Жертвоприношения в Афинах не помогали остановить эпидемию, а местные прорицатели, хотя и понимали, что необходимы особые очистительные обряды, не могли определить, какие именно церемонии смогут умиловить божественный гнев. Дельфийский оракул велел им призвать высшее духовное руководство извне, и так в Афины прибыл знаменитый критский пророк и мудрец Эпименид.

Век между 620 и 500 гг. до н. э. кажется особенно примечательным из-за первого распространения и мощного влияния отдельных религиозных братств, мистических обрядов и искупительных церемоний, ни одна из которых, как я уже отмечал в предыдущей главе, не находит отражения в гомеровском эпосе. К этому периоду относятся Фалет, Аристей, Абарис, Пифагор, Ономакрит и первые достоверные свидетельства деятельности орфической секты. [143]

Среди людей этого рода одним из самых знаменитых был Эпименид – уроженец Феста или Кносса на Крите. [144] Древняя легендарная связь между Афинами и Критом, проявляющаяся в сказаниях о Тесее и Миносе, здесь снова обнаруживается в том, что афиняне обратились к этому острову, чтобы удовлетворить свои духовные нужды. Эпименид, по-видимому, был связан [стр. 85] с культом критского Зевса, благосклонностью которого он пользовался настолько, что получил прозвание нового Курета [145] – ведь Куреты были древними служителями и устроителями этого культа.

Говорили, что он был сыном нимфы Балты; что нимфы снабжали его пищей, поскольку его никогда не видели едящим; что в юности он заснул в пещере и пребывал в этом состоянии без перерыва пятьдесят семь лет; хотя некоторые утверждали, что всё это время он странствовал по горам, собирая и изучая целебные растения в качестве ятромаанта – сочетавшего в себе врача и пророка. Эти предания отражают представление древних об Эпимениде-Очистителе, [146] который был призван исцелить как эпидемию, так и душевное смятение, охватившее афинский народ, подобно тому как его земляк и современник Фалет несколькими годами ранее

был приглашён в Спарту, чтобы унять чуму с помощью своей музыки и священных гимнов. [147]

Благоволение Эпименида у богов, его знание искупительных обрядов и способность воздействовать на религиозные чувства полностью преуспели в восстановлении здоровья и душевного спокойствия в Афинах. Рассказывают, что он выпустил на ареопаге чёрных и белых овец, велел слугам следовать за ними и наблюдать, а на тех местах, где животные ложились, возводить новые алтари соответствующим местным божествам. [148] Он основал новые святилища и установил [стр. 86] различные очистительные церемонии; в особенности же он упорядочил богослужение, совершаемое женщинами, так, чтобы успокоить их прежде неистовые порывы.

Мы почти ничего не знаем о деталях его действий, но сам факт его посещения и благотворное воздействие, устранившее религиозное уныние, угнетавшее афинян, хорошо засвидетельствованы: утешительные заверения и новые обрядовые предписания из уст человека, считавшегося особо приближённым к Зевсу, стали лекарством, в котором нуждалось это несчастное смятение. Более того, Эпименид проявил благоразумие, сблизившись с Солоном, и, хотя, без сомнения, получил от него много ценных советов, косвенно способствовал росту репутации самого Солона, чья деятельность по конституционной реформе уже приближалась к своему пику.

Он оставался в Афинах достаточно долго, чтобы полностью восстановить более здоровую религиозную атмосферу, а затем уехал, унося с собой всеобщую благодарность и восхищение, но отказавшись от всякой иной награды, кроме ветви со священной оливы на акрополе. [149] Говорили, что его жизнь продлилась необычайно долго – сто пятьдесят четыре года, согласно утверждениям, ходившим во времена его младшего современника Ксенофана Колофонского; [150] критяне же даже осмеливались утверждать, что он прожил триста лет. Они прославляли его не только как мудреца и духовного очистителя, но и как поэта – ему приписывались очень длинные произведения на религиозные и миф [стр. 87] ологические темы; по некоторым сведениям, они даже почитали его как бога.

И Платон, и Цицерон рассматривали Эпименида так же, как его современники – как пророка, вдохновлённого божеством и предсказывающего будущее в состояниях временного экстаза; однако, согласно Аристотелю, сам Эпименид утверждал, что от богов получил не более чем дар провидеть неизвестные события прошлого. [151]

Религиозная миссия Эпименида в Афины и её исцеляющее воздействие на общественное сознание заслуживают внимания как характерные черты той эпохи, в которую они произошли. [152] Если мы перенесёмся на два столетия вперёд, к временам Пелопоннесской войны, когда рациональные идеи и позитивные привычки мышления прочно утвердились в умах наиболее просвещённых, а практические обсуждения политических и судебных вопросов стали обычным делом для каждого афинского гражданина, то столь неконтролируемая религиозная тревога вряд ли могла бы охватить всё общество; а если бы и охватила, то вряд ли нашёлся бы человек, способный снискать всеобщее почитание и исцелить этот недуг. Платон, [153] признавая реальную целительную силу обрядов и церемоний, полностью верил в то, что Эпименид был вдохновлённым пророком в прошлом, но к тем, кто претендовал на обладание сверхъестественной силой в его время, он относился с куда большим скепсисом. Он, как и Еврипид с Теофрастом, встречал равнодушием, а то и презрением орфеотелестов более позднего периода, которые заявляли, будто владеют тем же знанием ритуальных обрядов и способны влиять на волю богов, как некогда Эпименид. Эти орфеотелесты, несомненно, имели множество последователей и весьма успешно, а также выгодно для себя, спекулировали на [стр. 88] тревожной совести богачей: [154] однако они не пользовались уважением ни среди широкой публики, ни среди тех, чьему авторитету публика привыкла доверять. Как бы ни были они выродившимися, они оставались законными преемниками пророка и очистителя из Кносса, чьё появление столь помогло афинянам двумя веками ранее. Их изменившееся положение объяс-

нялось не столько их собственным упадком, сколько прогрессом в среде, на которую они пытались воздействовать. Если бы сам Эпименид явился в Афины в те времена, его визит, вероятно, оказался бы столь же бесполезным для общественных целей, как и повторение уловки Фие, облачённой в одеяние богини Афины, – уловки, столь успешной во времена Писистрата, но которую даже Геродот счёл невероятно абсурдной, хотя за век до него и город Афины, и аттические демы повиновались приказам этой величественной женщины как божественному повелению, восстановившему Писистрата у власти. [155]

Глава XI. СОЛОНОВСКИЕ ЗАКОНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.

Мы подходим к новой эпохе в истории Греции – первому известному примеру подлинной и бескорыстной конституционной реформы и первому краеугольному камню того великого здания, которое впоследствии стало образцом демократии в Греции. Архонтство эвпатрида Солон датируется 594 годом до н. э., через тридцать лет после Драконта и примерно через восемнадцать лет после заговора Килона, если предположить, что последнее событие правильно датируется 612 годом до н. э.

Жизнеописания Солон, составленные Плутархом и Диогеном, особенно первое [стр. 89], являются нашими главными источниками информации об этом выдающемся человеке. И хотя мы благодарны им за то, что они сообщили, невозможно не выразить разочарования, что они не рассказали больше. У Плутарха, несомненно, были под рукой как оригинальные стихи, так и оригинальные законы Солон, и те немногие цитаты, которые он приводит из них, составляют главную прелесть его биографии. Но такие ценные материалы должны были привести к более содержательному результату, чем тот, который он представил. Нет, пожалуй, большей утраты среди сокровищ греческой мысли, чем утрата поэм Солон, ибо по сохранившимся фрагментам видно, что они содержали описания общественных и социальных явлений его времени, которые он был вынужден внимательно изучать, – переплетенные с трогательным выражением его личных чувств в положении, одновременно почетном и трудном, на которое его возвело доверие сограждан.

Солон, сын Эксеkestида, был эвпатридом среднего достатка [156], но чистейшей героической крови, принадлежа к роду Кодридов и Нелеидов и возводя свое происхождение к богу Посейдону. Говорят, его отец растратил состояние из-за мотовства, что вынудило Солон в молодые годы заняться торговлей, и в этом занятии он посетил многие области Греции и Азии. Это позволило ему расширить кругозор и накопить материал как для размышлений, так и для творчества. Его поэтический талант проявился очень рано – сначала в легких, затем в серьезных темах. Следует помнить, что в то время не существовало греческой прозы, и интеллектуальные труды, даже в самой простой форме, подчинялись не правилам пунктуации, а законам гекзаметра и пентаметра. Впрочем, стихи Солон не претендуют на большой эффект, чем мы привыкли связывать с искренней, трогательной и наставительной прозой. Советы и призывы, которые он часто обращал к согражданам [157], были изложены этим легким размером, несомненно, гораздо менее сложным, чем тщательно отделанная проза позднейших [стр. 90] писателей и ораторов, таких как Фукидид, Исократ или Демосфен. Его поэзия и его слава распространились по многим областям Греции, и его ставили в один ряд с Фалесом Милетским, Биантом Приенским, Питтаком Митиленским, Периандром Коринфским, Клеобулом Линдским и Хилоном Лакедемонским – все они впоследствии составили прославленное созвездие Семи мудрецов.

Первым конкретным событием, в котором Солон проявил себя как активный политик, стал спор между Мегарой и Афинами за обладание островом Саламин. В то время Мегара могла соперничать с Афинами и даже некоторое время успешно удерживала этот важный остров – примечательный факт, который, возможно, объясняется тем, что жители Афин и их окрестностей вели борьбу лишь при частичной поддержке остальной Аттики. Как бы то ни было, к моменту начала политической карьеры Солон мегарцы уже прочно обосновались на Саламине, а афиняне понесли такие потери в борьбе, что официально запретили любому гражданину даже предлагать возобновление войны за его возвращение. Уязвленный этим позорным отказом, Солон притворился, будто находится в состоянии экстатического возбуж-

дения, ворвался на агору и там, на камне, обычно занимаемом официальным глашатаем, прочитал собравшейся толпе короткую элегическую поэму [158], которую заранее сочинил на тему Саламина. Он убеждал их в позоре отказа от острова и так сильно повлиял на их чувства, что они отменили запретительный закон: «Лучше (воскликнул он) я лишусь родного города и стану гражданином Фолегандроса, чем буду именоваться афинянином, заклеянным позором сданного Саламина!» Афиняне снова вступили в войну и поручили ему командование – отчасти, как говорят, по настоянию Писистрата, хотя последний в то время (600–594 гг. до н. э.) должен был быть еще очень молодым человеком или даже ребенком [159].

Рассказы Плутарха о том, как Саламин был возвращен, противоречивы и апокрифичны, приписывая Солону различные хитрости для обмана мегарских захватчиков; к сожалению, ни один из них не подтверждается достоверными источниками. Согласно наиболее правдоподобной версии, он получил указание от дельфийского бога сначала умиловить местных героев острова; поэтому он переправился туда ночью, чтобы принести жертвы героям Перифему и Кикрею на саламинском берегу. Затем были набраны пятьсот афинских добровольцев для атаки на остров, с условием, что в случае победы они получают его в собственность и гражданские права. [160] Они благополучно высадились на отдаленном мысу, в то время как Солон, сумев захватить корабль, посланный мегарцами для наблюдения, посадил на него афинян и направился прямо к городу Саламину, куда также двинулись высадившиеся пятьсот афинян. Мегарцы вышли из города, чтобы отразить их, и в разгар боя Солон на мегарском корабле с афинским экипажем подплыл прямо к городу: мегарцы, приняв его за возвращение своего корабля, позволили ему приблизиться без сопротивления, и город был взят врасплох. После того как мегарцам разрешили покинуть остров, [стр. 92] Солон завладел им для Афин, воздвигнув храм Эниалию, богу войны, на мысе Скирадионе близ города Саламина. [161]

Однако мегарцы предприняли несколько попыток вернуть столь ценное владение, что привело к затяжной и губительной для обеих сторон войне. В конце концов, они согласились передать спор на арбитраж Спарты, и для его разрешения были назначены пять спартанцев – Критолайд, Амомфарет, Гипсехид, Анаксил и Клеомен. Решение в пользу Афин было основано на доказательствах, которые сегодня кажутся любопытными. Обе стороны пытались доказать, что погребенные на острове тела соответствуют их собственному способу захоронения, и обе цитировали строки из каталога «Илиады», [162] обвиняя друг друга в ошибках или интерполяциях. Но афиняне имели преимущество по двум пунктам: во-первых, существовали дельфийские оракулы, где Саламин упоминался с эпитетом «ионийский»; во-вторых, Филей и Эврисак, сыновья теламонида Аякса, великого героя острова, приняли афинское гражданство, передали Саламин афинянам и переселились в Браврон и Мелиту в Аттике, где филиаиды, дем или род, по-прежнему чтили Филея как своего эпонимного предка. Этого оказалось достаточно, и пять спартанцев присудили Саламин Аттике, [163] с которой он оставался неразрывно связан [стр. 93] вплоть до времен македонского господства. Два с половиной века спустя, когда оратор Эсхин отстаивал право Афин на Амфиполь перед Филиппом Македонским, легендарные элементы аргументации действительно выдвигались, но скорее как предисловие к существенным политическим основаниям. [164] Однако в 600 году до н. э. авторитет легенды был более глубоким и действенным, достаточным сам по себе для благоприятного вердикта.

Помимо завоевания Саламина, Солон укрепил свою репутацию, выступив в защиту дельфийского храма против вымогательств жителей Кирры, о чем подробнее будет сказано в следующей главе; благосклонность оракула, вероятно, сыграла свою роль в получении им ободряющего пророчества, с которого началась его законодательная деятельность.

Именно в связи с законодательством Солона мы впервые – к сожалению, лишь мельком – получаем представление о реальном состоянии Аттики и ее жителей. Картина печальна и непривлекательна: политические раздоры сочетаются с частными страданиями.

Среди жителей Аттики царили жестокие раздоры: они разделились на три фракции – педиеи, или жители равнины, включая Афины, Элевсин и соседние территории, среди которых было больше всего богатых семей; диакрии, горцы востока и севера Аттики, в целом беднейшая группа; и паралии южной части Аттики, от моря до моря, чье материальное и социальное положение было промежуточным. [165] Точные причины этих внутренних споров неизвестны; впрочем, они не были особенностью периода непосредственно перед архонтством Солона – они существовали и раньше и возобновились позже, перед [стр. 94] тиранией Писистрата, который выступил как лидер диакриев и защитник (реальный или мнимый) бедного населения.

Но во времена Солона эти внутренние распри усугублялись куда более сложной проблемой – всеобщим восстанием бедных против богатых, вызванным нищетой и угнетением. Феты, чье положение мы уже видели в поэмах Гомера и Гесиода, теперь составляют основную массу населения Аттики – это арендаторы, издольщики и мелкие землевладельцы. Они описаны как обремененные долгами и зависимостью, многие из них перешли из свободного состояния в рабство – вся их масса, как говорится, была в долгу у богачей, владевших большей частью земли. [166] Они либо брали деньги в долг для своих нужд, либо обрабатывали земли богачей как зависимые арендаторы, отдавая установленную долю урожая, и в этом качестве многие из них имели большие задолженности.

Все пагубные последствия старого сурового закона о должниках и кредиторах – некогда распространенного в Греции, Италии, Азии и на большей части мира – сочетались здесь с признанием рабства законным состоянием и права одного [стр. 95] человека продавать себя, равно как и права другого покупать его. Каждый должник, неспособный выполнить свой договор, мог быть приговорен к рабству у своего кредитора, пока не находил способа либо выплатить долг, либо отработать его; и не только он сам, но и его малолетние сыновья, незамужние дочери и сестры, которых закон давал ему право продавать [167]. Бедняк, таким образом, брал в долг под залог своего тела – если переводить греческую фразу буквально – и под залог членов своей семьи; и настолько жестоко исполнялись эти кабальные договоры, что многие должники в самой Аттике были низведены от свободы до рабства, – многие другие проданы для вывоза, – а некоторые до сих пор сохраняли свою свободу лишь ценой продажи детей. Более того, множество мелких земельных владений в Аттике были заложены, о чем свидетельствовали – согласно формальности, обычной в афинском праве и сохранявшейся на протяжении всей исторической эпохи – каменные столбы, установленные на земле, с надписью имени займодавателя и суммы займа. Владельцы этих заложенных земель, в случае неблагоприятного поворота событий, не имели иной перспективы, кроме неотвратимого рабства для себя и своих семей – либо в родной стране, лишенной всех ее радостей, либо в каком-нибудь варварском краю, где аттический говор никогда не достигал бы их слуха. Некоторые бежали из страны, чтобы избежать судебного приговора, и добывали жалкое пропитание на чужбине унижительными занятиями; на некоторых же это бедственное положение обрушилось из-за несправедливых приговоров и продажных судей, ибо поведение богачей в отношении денег – как священных, так и мирских, в делах как общественных, так и частных – было совершенно бесчестным и хищническим.

Многообразные и долговременные страдания бедняков при этой системе, погруженных в состояние унижения, не менее тяжкого, чем у галльской плебс, – и несправедливости богачей, в чьих руках тогда была вся политическая власть, – факты, хорошо [стр. 96] засвидетельствованные самими стихами Солона, даже в тех коротких фрагментах, что дошли до нас [168]. И, по-видимому, непосредственно перед временем его архонства зло достигло такого предела, – а решимость массы страдальцев добиться для себя какого-либо облегчения стала настолько явной, – что существующие законы уже не могли исполняться. Согласно глубокому замечанию Аристотеля – что мятежи рождаются от больших причин, но из малых поводов [169], – можно предположить, что некоторые недавние события послужили непосредствен-

ным толчком к восстанию должников, подобно тем, что придают столь поразительный интерес ранней римской истории, как воспламеняющие искры народных волнений, для которых горючий материал был подготовлен задолго до того. Возможно, приговоры архонов к несостоятельным должникам стали выноситься необычайно часто, или же жестокое обращение с каким-то конкретным должником, некогда уважаемым свободным человеком, в его рабском состоянии могло сильно повлиять на общественные симпатии, – как в случае со старым плебейским центурионом в Риме [170], – сначала разоренным вражеским грабежом, затем вынужденным занять деньги и, наконец, присужденным к своему кредиту [стр. 97] тору как несостоятельный, – который потребовал защиты народа на форуме, возбудив его чувства до крайней степени следами рабского бича на своем теле. Вероятно, произошли какие-то подобные события, хотя у нас нет историков, чтобы их описать; более того, не будет неразумным предположить, что та общественная душевная тревога, для успокоения которой был призван очиститель Эпименид, имела своей причиной не только чуму, но и годы неурожая, которые, конечно, усугубили бедственное положение мелких земледельцев.

Как бы то ни было, таково было положение вещей в 594 г. до н. э.: бунт бедных свободных граждан и фетов, недовольство среднего класса – так что правящая олигархия, неспособная ни взыскать свои частные долги, ни удержать политическую власть, была вынуждена обратиться к известной мудрости и честности Солона. Хотя его резкий протест – который, несомненно, сделал его приемлемым для народных масс – против несправедливости существующей системы уже был провозглашен в его стихах, они все еще надеялись, что он послужит им союзником, чтобы помочь преодолеть трудности, и потому избрали его, номинально, архонтом вместе с Филомбротом, но с властью, по сути, диктаторской.

Бывало так в нескольких греческих государствах, что правящие олигархии, либо из-за раздоров среди своих членов, либо из-за общего бедственного положения народа под их властью, лишались той опоры в общественном мнении, которая была необходима для их власти; и иногда, как в случае Питтака Митиленского до архонтства Солона, и часто в распрях итальянских республик Средних веков, столкновение противоборствующих сил делало общество невыносимым и заставляло все стороны согласиться на выбор реформирующего диктатора. Однако обычно в ранних греческих олигархиях этот конечный кризис предвосхищался каким-нибудь честолюбивым лицом, которое использовало народное недовольство, чтобы свергнуть олигархию и узурпировать власть тирана; и, вероятно, так могло случиться и в Афинах, если бы не недавний провал Килона со всеми его плачевными последствиями, действовавший как сдерживающий мотив. Любопытно читать в собственных словах Солона, как его назначение было истолковано значительной частью общества, но особенно его собственными друзьями: и мы [стр. 98] должны помнить, что в эту раннюю эпоху, насколько нам известно, демократическое правление было неизвестно в Греции – все греческие государства были либо олигархиями, либо тираниями, а масса свободных граждан еще не вкусила конституционных привилегий. Его собственные друзья и сторонники первыми стали убеждать его, исправляя всеобщее недовольство, умножить число своих личных приверженцев и захватить верховную власть: они даже «упрекали его как безумца за то, что он отказывался вытянуть сеть, когда рыба уже была в ней» [171]. Народные массы, отчаявшись в своей судьбе, охотно поддержали бы его в такой попытке, и даже многие среди олигархов могли бы примириться с его личным правлением просто из страха перед худшим, если бы они сопротивлялись.

Что Солон легко мог бы сделать себя тираном, не подлежит сомнению; и хотя положение греческого тирана всегда было рискованным, у него было больше шансов удержаться у власти, чем у Писистрата после него, так что лишь сочетание благоразумия и добродетели, отличавшее его возвышенный характер, удержало его в рамках особо доверенной ему миссии. К удивлению всех, – к неудовольствию своих друзей, – под жалобами, как он сам говорит, различных крайних и разногласящих партий, требовавших от него мер, губительных для общественного

спокойствия [172], – он честно взялся за решение крайне трудной и критической задачи, представленной ему. Из всех обид наиболее насущной было положение беднейшего класса должников; и для их облегчения первая мера Солон – знаменитая сисахфия, или «страхивание бремени», – была направлена именно на это [стр. 99]. Облегчение, которое она принесла, было полным и немедленным. Она разом отменила все те договоры, в которых должник брал займы под залог либо своей личности, либо своей земли: она запретила все будущие займы или договоры, в которых личность должника выступала в качестве залога: она лишила кредитора в будущем всякой власти заключать в тюрьму, обращать в рабство или вымогать работу у своего должника, ограничив его эффективным судебным решением, разрешающим конфискацию имущества последнего. Она смела все многочисленные закладные столбы с земельных владений в Аттике, освободив землю от всех прежних притязаний. Она освободила и восстановила в полных правах всех тех должников, которые фактически находились в рабстве по предыдущим судебным решениям; и она даже предусмотрела средства – мы не знаем какие – для выкупа в чужих землях и возвращения к возобновлённой жизни свободы в Аттике многих несостоятельных должников, проданных на экспорт [173]. И хотя Солон запретил каждому афинянину закладывать или продавать себя в рабство, он пошёл ещё дальше в том же направлении, запретив ему закладывать или продавать своего сына, дочь или незамужнюю сестру под его опекой, – за исключением лишь того случая, когда любая из последних могла быть уличена в бесчестии [174] [стр. 100]. Было ли это последнее постановление современным сисахфией или последовало как одна из его последующих реформ, остаётся сомнительным.

Благодаря этой обширной мере бедные должники – феты, мелкие арендаторы и землевладельцы – вместе со своими семьями были избавлены от страданий и опасности. Но это были не единственные должники в государстве: кредиторы и землевладельцы освобождённых фетов, несомненно, в свою очередь были должниками перед другими и оказались менее способны выполнить свои обязательства из-за ущерба, нанесённого им сисахфией. Именно для помощи этим более состоятельным должникам, чьи личности не находились в опасности, – но не освобождая их полностью, – Солон прибег к дополнительной мере – снижению денежного стандарта; он понизил стандарт драхмы примерно на двадцать пять процентов, так что сто драхм нового стандарта содержали не больше серебра, чем семьдесят три старых, или сто старых были эквивалентны ста тридцати восьми новым. Благодаря этому изменению кредиторы этих более состоятельных должников были вынуждены понести потери, тогда как должники получили освобождение примерно на двадцать семь процентов [175].

[стр. 101] Наконец, Солон постановил, что все те, кто был приговорён архонтами к атимии (гражданскому бесчестию), должны быть восстановлены в своих полных правах граждан, – за исключением, однако, тех, кто был осуждён эфетами, ареопагом или филобасилевсами (четырьмя царями фил) после суда в притане по обвинениям либо в убийстве, либо в государственной измене [176]. Столь масштабная мера амнистии даёт веские основания полагать, что предыдущие приговоры архонтов были невыносимо суровы; и следует помнить, что в то время действовали драконовские законы.

Таковы были меры облегчения, с которыми Солон встретил опасное недовольство, тогда широко распространённое. Легко представить, что богатые люди и лидеры народа, чьи надменность и несправедливость он сам так резко порицал в своих стихах и чьи ожидания при его назначении он сильно разочаровал [177], возненавидели предложения, которые лишали их без компенсации многих их законных прав. Но утверждение Плутарха, что бедные освобождённые должники также были недовольны, ожидая, что Солон не только спишет их долги, но и перераспределит землю Аттики, кажется совершенно невероятным; и оно не подтверждается ни одним из сохранившихся фрагментов солоновских стихов [178]. Плутарх представляет бедных должников мысленно сравнивающими себя с Ликургом и равенством собственности в Спарте, которое, как я уже пытался показать [179], является вымыслом; и даже будь оно правдой, как

давно прошедший и устаревший исторический факт, оно вряд ли могло так сильно воздействовать на умы множества людей в Аттике, как предполагает биограф. Сисахфия, несомненно, ожесточила чувства и уменьшила состояния многих людей; но она дала огромной массе фетов и мелких землевладельцев всё, на что они могли надеяться. И нам [стр. 102] говорят, что после короткого промежутка времени она стала исключительно приемлемой в общем публичном мнении и принесла Солону значительный рост популярности – все сословия объединились в общем жертвоприношении благодарности и гармонии [180]. Был один инцидент, вызвавший взрыв возмущения. Трое богатых друзей Солона, все люди знатных семей в государстве и носящие имена, которые впоследствии встретятся в этой истории как имена их потомков, – Конон, Клейний и Гиппоник, – получив от Солона некоторый намёк на его планы, воспользовались им, сначала заняв деньги, а затем купив земли; и этот эгоистичный обман доверия опозорил бы самого Солона, если бы не выяснилось, что он сам понёс большие потери, ссудив деньги на сумму в пять талантов. Нам хотелось бы знать, на каком источнике основывался Плутарх в этом анекдоте, который вряд ли мог быть записан в собственных стихах Солона [181].

Что касается всей меры сисахфии, то, хотя стихи Солона были доступны каждому, древние авторы давали разные описания как её сути, так и её масштабов. Большинство из них толковали её как отмену всех денежных договоров без разбора; тогда как Андротион и другие считали, что она лишь снизила процентную ставку и обесценила валюту на двадцать семь процентов, оставив букву договоров неизменной. Как Андротион пришёл к такому мнению, нам трудно понять, ибо сохранившиеся фрагменты Солона, кажется, явно опровергают его, хотя, с другой стороны, они не заходят так далеко, чтобы подтвердить полную противоположную точку зрения, высказанную многими писателями, – что все денежные договоры без разбора были аннулированы [182]: против чего есть также дополнительное основание, что, будь это так, у Солона не было бы мотива снижать денежный стандарт. Такое обесценивание предполагает, что должны были быть по крайней мере некоторые должники, чьи договоры оставались в силе, и которых он, тем не менее, хотел частично поддержать. Его стихи ясно упоминают три вещи: 1. Удаление закладных столбов. 2. Освобождение земли. 3. Защиту, освобождение и восстановление в правах личностей должников, находящихся в опасности или рабстве. Все эти выражения явно указывают на фетов и мелких землевладельцев, чьи страдания и опасности были наиболее острыми и чей случай требовал немедленного и полного решения: мы видим, что его отказ от долгов зашёл достаточно далеко, чтобы освободить их, но не дальше.

Кажется, именно уважение к личности Солона отчасти стало причиной различных заблуждений относительно его законов по облегчению участи должников: Андротион в древности и некоторые авторитетные современные критики стремятся доказать, что он помог должникам без ущерба или несправедливости по отношению к кому-либо. Но это мнение совершенно неприемлемо: убытки кредиторов из-за массовой отмены множества ранее заключенных договоров и частичного обесценивания монеты – факт, который нельзя скрыть. Сисахфия Солона, несправедливая в той мере, в какой она отменяла прежние соглашения, но крайне благотворная по своим последствиям, может быть оправдана лишь тем, что никаким иным способом нельзя было сохранить узы [р. 104] государства или облегчить страдания народа.

Следует учитывать, во-первых, крайнюю личную жестокость этих прежних договоров, которые обрекали свободного должника и его семью на рабство; во-вторых, глубокую ненависть, которую такая система вызывала у широких масс бедняков как к судьям, так и к кредиторам, её применявшим, – ненависть, сделавшую их чувства неконтролируемыми, как только они объединились перед лицом общей опасности с решимостью обеспечить взаимную защиту. Более того, закон, дающий кредитору власть над личностью должника вплоть до обращения его в рабство, способствует появлению класса займов, вызывающих лишь отвращение, – денег, данных взаймы с заранее известной невозможностью их возврата, но с уверенностью, что стои-

мость личности должника как рана покрывает убыток, низводя его тем самым до крайней нищеты ради возвеличивания или обогащения кредитора.

Между тем основа уважения к договорам в рамках хорошего закона о должниках и кредиторах прямо противоположна: она зиждется на твёрдом убеждении, что такие договоры выгодны для обеих сторон как класса и что подрыв доверия, необходимого для их существования, нанесёт огромный вред всему обществу. Человек, ныне глубже всех чтящий обязательность договора, испытывал бы совсем иные чувства, наблюдая отношения заимодавцев и должников в Афинах при старом допесолоновом законе.

Олигархия из всех сил старалась сохранить этот закон о должниках и кредиторах с его пагубными договорами, и единственной причиной, по которой они согласились призвать Солона, была утрата возможности его дальнейшего применения из-за пробудившегося единства и мужества народа. То, что они не смогли сделать сами, Солон не смог бы сделать за них, даже если бы захотел; у него также не было средств ни освободить, ни компенсировать тех кредиторов, которые, взятые по отдельности, не заслуживали упрёка. Более того, из его действий ясно видно, что он считал необходимым возмещение не кредиторам, а искупление прошлых страданий *enslaved* должников, поскольку выкупил многих из них из иностранного [р. 105] плена и вернул на родину.

Бесспорно, что никакая исключительно перспективная мера не смогла бы разрешить кризис: было абсолютно необходимо отменить весь класс прежних прав, породивших столь жестокий социальный кризис. Поэтому, хотя в этой части сисахфию нельзя оправдать от несправедливости, мы можем уверенно утверждать, что причинённая несправедливость была неизбежной платой за сохранение общественного мира и окончательную отмену губительной системы в отношении несостоятельных должников. [183]

Современное европейское законодательство и общественное мнение, запрещая заранее любые договоры о продаже личности человека или его детей в рабство, практически санкционируют солонову отмену долгов.

Одно важно помнить об этой мере в сочетании с поправками, внесёнными Солоном в закон: она окончательно решила проблему, к которой относилась. Более мы не слышим о законе о должниках и кредиторах как источнике беспокойства в Афинах. Общественное мнение, сложившееся в Афинах при солоновом денежном законе и демократическом правлении, отличалось глубоким уважением к святости договоров.

Не только не было в афинской демократии требований новых таблиц или обесценивания денежной единицы, но и формальный отказ от подобных проектов был включён в ежегодную присягу многочисленных дикастов, составлявших народный судебный орган – гелиэю, или гелиастических присяжных. Та же присяга, обязывавшая их [р. 106] поддерживать демократическую конституцию, запрещала им одобрять любые предложения об отмене долгов или переделе земель. [184]

Не подлежит сомнению, что при Солоновом законе, позволявшем кредитору взыскивать имущество должника, но не дававшим власти над его личностью, система займов приобрела более благотворный характер: прежние пагубные договоры, простые ловушки для свободы бедняка и его детей, исчезли, а их место заняли денежные займы, основанные на имуществе и будущих доходах должника, которые в основном были полезны обеим сторонам и потому сохранили своё место в общественной морали.

И хотя Солон был вынужден отменить все существовавшие в его время земельные залоги, мы видим, что в историческую эпоху [р. 107] Афин деньги свободно давались под залог земли, а свидетельствующие об этом залоговые столбы оставались нетронутыми.

В духе раннего общества, как и в древнеримском праве, обычно проводится различие между основной суммой займа и процентами, хотя кредиторы стремились неразрывно сливать их воедино. Если заемщик не может выполнить свое обещание вернуть основную сумму, обще-

ство будет считать, что он совершил проступок, который должен искупить своей личностью; но нет такого единодушия в отношении его обязательства платить проценты: напротив, само взимание процентов многими будет рассматриваться так же, как английское право рассматривает ростовщические проценты – как порочащую всю сделку. Однако в современном сознании основная сумма и проценты (в пределах ограниченной ставки) настолько срослись, что нам трудно понять, как могло считаться недостойным честного гражданина давать деньги под проценты; тем не менее, таково было открыто выраженное мнение Аристотеля и других выдающихся людей древности, а римский цензор Катон пошел так далеко, что объявил эту практику тяжким преступлением. [185] Они включали ее в число худших видов торговых уловок – и считали, что вся торговля или прибыль, полученная от обмена, противоестественна, поскольку извлекается одним человеком за счет другого: поэтому такие занятия не могли быть одобрены, хотя и могли терпимо допускаться в определенной степени как необходимость, но по сути принадлежали низшему разряду граждан. [186] Примечательно в [стр. 108] Греции то, что антипатия очень раннего состояния общества к торговцам и ростовщикам сохранялась среди философов дольше, чем среди массы народа – она больше гармонировала с социальным идеалом первых, чем с практическими инстинктами последних.

В примитивном состоянии, таком как у древних германцев, описанных Тацитом, займы под проценты неизвестны: привычно беззаботные о будущем, германцы радовались как дарению, так и получению подарков, но без мысли о том, что они тем самым налагают или берут на себя обязательство. [187] Для народа с таким укладом мыслей заем под проценты вызывает отталкивающую идею извлечения выгоды из бедственного положения заемщика; более того, стоит отметить, что первые заемщики, как правило, были людьми, вынужденными к этому крайней нуждой и влезавшими в долг как в отчаянное средство, без реальных перспектив возврата: долг и голод идут рука об руку в представлении поэта Гесиода. [188] Заемщик в этом не [стр. 109] счастливом состоянии скорее несчастный, умоляющий о помощи, чем платежеспособный человек, способный заключить и выполнить договор; и если он не найдет друга, который сделает ему безвозмездный подарок в первом качестве, то во втором качестве он не получит займа у постороннего иначе, как под обещание чрезмерных процентов [189] и с предоставлением кредитору полной власти над своей личностью.

Со временем появляется новый класс заемщиков, [стр. 110] которые берут деньги для временных нужд или выгоды, но с полной перспективой возврата – отношение кредитора и заемщика совершенно иное, чем в прежние времена, когда оно представлялось в отталкивающей форме: нужда с одной стороны и возможность огромной прибыли с другой. Если бы германцы времен Тацита увидели положение бедных должников в Галлии, ввергнутых в рабство богатым кредитором и пополнявших сотнями толпу его слуг, они вряд ли пожалели бы о своем незнании практики денежных займов. [190] Насколько проценты тогда считались неоправданной прибылью, вымогаемой у нуждающихся, ярко иллюстрирует древний еврейский закон, разрешавший еврею брать проценты с иностранцев (которых законодатель не считал нужным защищать), но не с соплеменников. [191] [стр. 112] Коран последовательно развивает эту точку зрения и полностью запрещает взимание процентов. В большинстве других народов законы ограничивали процентную ставку, и особенно в Риме законная ставка постепенно снижалась – хотя, как и следовало ожидать, ограничительные постановления постоянно обходились. Все такие ограничения были предназначены для защиты должников; однако, как показывает обширный опыт, они никогда не достигали этого эффекта, если только не считать защитой сделать получение займа невозможным для самых отчаявшихся заемщиков. Но был другой эффект, который они действительно производили – они смягчали изначальную антипатию к самой практике и ограничивали ненавистное название «ростовщичества» лишь займами сверх установленной законом ставки.

Только таким образом они могли действовать благотворно, и их тенденция противодействовать прежним чувствам была в то время немаловажной, совпадая с другими тенденциями, вытекающими из промышленного прогресса общества, который постепенно представлял отношения кредитора и заемщика в более взаимовыгодном свете, менее отталкивающим для стороннего наблюдателя. [192]

В Афинах на протяжении всей исторической эпохи возобладала более благоприятная точка зрения – развитие промышленности и торговли в рамках смягченного законодательства, установившегося после Солона, уже в очень ранний период привело к исчезновению общественной неприязни к кредиторам, дававшим деньги под проценты. [193] Можно также отметить, что эта более справедливая позиция сформировалась спонтанно, без каких-либо законодательных ограничений [стр. 113] процентной ставки – подобные ограничения никогда не вводились, а сама ставка была официально объявлена свободной законом, приписываемым самому Солону. [194] Вероятно, то же самое можно сказать и о других греческих общинах – по крайней мере, нет данных, которые заставили бы нас предположить обратное.

Однако неприязнь к выдаче денег под проценты сохранялась в умах философов еще долго после того, как она перестала быть частью практической морали граждан и после того, как перестала оправдываться теми обстоятельствами, которые изначально ее породили. Платон, Аристотель, Цицерон [195] и Плутарх рассматривают эту практику как проявление торгового и стяжательского духа, который они стремились осудить; одним из следствий этого стало то, что они были менее склонны решительно отстаивать нерушимость денежных обязательств. Консервативные настроения в этом вопросе были сильнее среди широких масс, чем среди философов. Платон даже жалуется на то, что они неудобно преобладают [196] и сковывают законодателя в его масштабных реформаторских проектах.

В большинстве случаев планы отмены долгов и передела земель выдвигались лишь людьми отчаянными и честолюбивыми, которые использовали их как ступень к деспотической власти. Такие личности осуждались как здравым смыслом общества, так и мыслителями-теоретиками. Но когда мы обращаемся к примеру спартанского царя Агиса III, предложившего полную отмену долгов и равный передел [стр. 114] земельной собственности государства – не из корыстных или личных побуждений, а исходя из чистых, пусть и не всегда верно понятых, патриотических идей, с целью восстановления утраченного могущества Спарты, – мы видим, что Плутарх [197] выражает безоговорочное восхищение этим молодым царем и его замыслами, а сопротивление ему объясняет низменной жадностью.

Философы, размышлявшие о политике, полагали – и во многом справедливо, как я покажу далее, – что условия безопасности в древнем мире требовали от граждан постоянной поддержки воинского духа и готовности терпеть лишения. Поэтому рост богатства, обычно ведущий к росту изнеженности, вызывал у них неодобрение. Если, по их оценке, какая-либо греческая община приходила в упадок, они были готовы оправдать серьезное вмешательство в существующие права, чтобы приблизить ее к своему идеалу. Реальной же гарантией сохранения этих прав были консервативные настроения большинства граждан, а не взгляды, которые выдающиеся умы заимствовали у философов.

В поздней афинской демократии эти консервативные чувства были особенно глубоки: афинский народ неразрывно связывал защиту собственности во всех ее формах с защитой своих законов и конституции. Примечательно, что, хотя восхищение Солоном в Афинах было всеобщим, принципы его сисахфии (отмены долгов) и обесценивания денег не только никогда не повторялись, но и встречали молчаливое осуждение. В то же время в Риме, как и в большинстве королевств современной Европы, одна порча монеты следовала за другой – соблазн частично избежать финансовых трудностей после первого успешного опыта оказывался слишком сильным, и монета в результате последовательных обесцениваний уменьшилась с полного фунта (12 унций) до половины унции. Этот факт [стр. 115] стоит отметить, особенно если

вспомнить, как римские писатели превратили «греческую верность» в символ мошенничества в денежных делах. [198]

Афинская демократия – да и греческие города вообще, будь то олигархии или демократии, – стоят гораздо выше римского сената, а также королевств Франции и Англии вплоть до недавнего времени в вопросах честности денежного обращения. [199] Более того, в то время как в Риме происходили политические перемены, приводившие к новым таблицам [200] или хотя бы к частичному обесцениванию обязательств, в Афинах за три века между Солоном и концом свободного существования демократии ничего подобного не случилось.

Конечно, в Афинах были должники-мошенники, и хотя частное право никак не потаило их действиям, судебная система была далека от совершенства и не могла подавить их так эффективно, как хотелось бы. Однако общественное мнение по этому вопросу было твердым и справедливым, и можно с уверенностью утверждать, что кредит в Афинах был столь же надежным, как и в любом другом месте и эпохе древнего мира – несмотря на то, что Рим обладал важным преимуществом в виде накопления авторитетных юридических прецедентов, которые легли в основу римского права. Среди различных причин волнений и беспорядков в греческих общинах [201] давление частных долгов упоминается редко.

Благодаря описанным выше мерам облегчения [202] Солон достиг результатов, превзошедших его самые смелые ожидания. Он исцелил преобладающее недовольство; и такая уверенность и благодарность им были внушены, что теперь его призвали разработать конституцию и законы для лучшего функционирования [стр. 117] правительства в будущем. Его конституционные изменения были значительными и ценными; что касается его законов, то то, что мы о них слышим, скорее любопытно, чем важно.

Уже было сказано, что до времен Солона в Аттике существовало деление на четыре ионийских филы, включавших, с одной стороны, фратрии и роды, а с другой – три триттии и сорок восемь навкрарий, – тогда как эвпатриды, по-видимому, несколько особо уважаемых родов и, возможно, несколько выдающихся семей во всех родах, держали в своих руках всю власть. Солон ввел новый принцип классификации, называемый по-гречески тимократическим принципом. Он распределил всех граждан фил, без учета их родов или фратрий, на четыре класса в соответствии с размером их имущества, которое велел оценить и внести в публичный реестр. Тех, чей годовой доход составлял пятьсот медимнов зерна (около семисот имперских бушелей) и более, – причем один медимн считался эквивалентным одной драхме в денежном выражении, – он поместил в высший класс; те, кто получал от трехсот до пятисот медимнов, или драхм, составляли второй класс; а те, у кого доход был между двумястами и тремястами, – третий [203]. Четвертый и самый многочисленный класс включал всех, кто не владел землей, дающей урожай, равный двумстам медимнам.

Первый класс, называемый пентакосиомедимнами, имел исключительное право занимать должности архонтов и все командные посты; второй класс назывался всадниками, так как они обладали достаточным состоянием, чтобы содержать лошадь и нести военную службу в этом качестве; третий класс, зевгиты, составлял тяжеловооруженную пехоту и был обязан служить в полном вооружении. Каждый из этих трех классов был внесен в публичный [стр. 118] реестр как обладающий налогооблагаемым капиталом, рассчитанным с определенным учетом его годового дохода, но в пропорции, уменьшающейся в зависимости от масштаба этого дохода, – и человек платил налоги государству в соответствии с суммой, по которой он был оценен в реестре; таким образом, этот прямой налог действовал фактически как прогрессивный подоходный налог.

Налогооблагаемая собственность граждан, принадлежащих к самому богатому классу, пентакосиомедимнов, рассчитывалась и вносилась в государственный реестр как капитал, равный двенадцатикратному годовому доходу; у всадника (гиппея) – десятикратному; у зевгита – пятикратному. Таким образом, пентакосиомедимн с доходом ровно в пятьсот драхм (мини-

мальный порог для его класса) оценивался в реестре как обладатель налогооблагаемой собственности в шесть тысяч драхм, или один талант (в двенадцать раз больше его дохода). Если его годовой доход составлял тысячу драхм, он оценивался в двенадцать тысяч драхм, или два таланта (та же пропорция дохода к налогооблагаемому капиталу). Но когда мы переходим ко второму классу, всадникам, пропорция меняется: всадник с доходом ровно в триста драхм (или триста медимнов) оценивался в три тысячи драхм (десятикратный доход), и так же для любого дохода между тремястами и пятьюстами.

В третьем классе пропорция снова изменялась: зевгит с доходом ровно в двести драхм оценивался по еще более низкому расчету – в тысячу драхм (пятикратный доход), и все доходы этого класса (от двухсот до трехсот драхм) аналогично умножались на пять для определения налогооблагаемого капитала.

На эти соответствующие суммы зарегистрированного капитала накладывался прямой налог: если государству требовался один процент прямого налога, беднейший пентакосиомедимн платил (с шести тысяч драхм) шестьдесят драхм; беднейший всадник (с трех тысяч) – тридцать; беднейший зевгит (с тысячи) – десять драхм. Таким образом, этот метод налогообложения действовал как прогрессивный подоходный налог, если рассматривать его в отношении трех разных классов, – но как равный подоходный налог, если рассматривать его в [стр. 119] отношении отдельных лиц внутри одного и того же класса [204].

Все лица в государстве, чей годовой доход составлял менее [стр. 120] двухсот медимнов (или драхм), относились к четвертому классу, и они, должно быть, составляли подавляющее большинство населения. Они не облагались прямыми налогами и, возможно, изначально даже не вносились в налогооблагаемый реестр, тем более что мы не знаем, взимались ли какие-либо налоги по этому реестру во времена Солона. Говорят, что все они назывались фетами, но это утверждение плохо подтверждается и не может быть принято: четвертая категория в нисходящей шкале действительно называлась фетским цензом, потому что включала всех фетов и потому что большинство ее членов принадлежало к этому скромному разряду; но трудно представить, чтобы землевладелец, чья земля приносила ему чистый годовой доход в сто, сто двадцать, сто сорок или сто восемьдесят драхм, мог бы когда-либо обозначаться этим именем [205].

Таковы были подразделения на политической шкале, установленной Солоном, названной Аристотелем тимократией, где права, почести, функции и обязанности граждан определялись в соответствии с имущественным цензом каждого. Хотя шкала представлена так, будто учитывалась только земельная собственность, вероятнее предположить, что в неё включалось и другое имущество, поскольку она служила основой для налогообложения.

Высшие государственные почести – то есть должности девяти ежегодно избираемых архонтов, а также места в ареопагском совете, куда входили все бывшие архонты, – возможно, также должности пританов навкраий – были зарезервированы за первым классом. Бедные эвпатриды лишались права занимать эти должности, тогда как богатые не-эвпатриды получали доступ.

Другие, менее значимые должности занимали представители второго и третьего классов, которые, кроме того, несли военную службу: [стр. 121] первые – в коннице, вторые – в тяжелой пехоте. Более того, литургии государства – неоплачиваемые обязанности, такие как триерархия, хорегия, гимнасиархия и т. д., требовавшие от исполняющих их расходов и усилий, – распределялись между членами первых трёх классов, хотя точный механизм распределения в те ранние времена неизвестен.

Четвёртый, низший класс, напротив, не имел права занимать какие-либо индивидуальные должности, не исполнял литургий, служил в войске лишь как легковооружённый воин (иногда в паноплии, предоставленной государством) и не платил прямого имущественного налога (эйсфоры). Было бы неверно утверждать, что они вообще не платили налогов: косвен-

ные налоги, такие как пошлины на импорт, ложились на них наравне с остальными. При этом стоит помнить, что в течение долгого периода афинской истории косвенные налоги взимались регулярно, тогда как прямые – лишь в исключительных случаях.

Но хотя четвёртый класс, составлявший численное большинство свободного населения, был отстранён от индивидуальных должностей, его коллективное значение было усилено другим способом. Ему было предоставлено право избирать ежегодных архонтов из класса пентакосиомедимнов, а что ещё важнее – архонты и другие магистраты по истечении срока полномочий стали отчитываться не перед ареопагом, а перед народным собранием, которое могло судить их за прошлые действия. Они могли быть привлечены к ответственности, обязаны оправдываться, наказаны за проступки и лишены почётно-правового права заседать в ареопаге.

Если бы народное собрание действовало самостоятельно, без руководства, эта подотчётность осталась бы формальной. Но Солон придал ей реальную силу, создав ещё один новый институт, сыгравший впоследствии ключевую роль в развитии афинской демократии. Он учредил пробулевтический совет (предварительно рассматривающий дела), тесно связанный с народным собранием: он готовил вопросы для обсуждения, созывал и контролировал собрания, а также следил за исполнением решений. Этот совет, как первоначально установил [стр. 122] Солон, состоял из 400 членов, поровну избираемых от четырёх фил – не по жребию (как это будет в более развитой демократии), а голосованием, как тогда избирали архонтов. При этом представители четвёртого, беднейшего класса, хотя и участвовали в выборах, сами не могли быть избраны.

Создавая новый пробулевтический совет, подчинённый народному собранию, Солон не умалял значения прежнего ареопага. Напротив, он расширил его полномочия, дав ему общий надзор за исполнением законов, а также цензорские функции – контроль над образом жизни и занятиями граждан, включая наказание за праздность и распутство. Сам Солон, как бывший архонт, входил в этот древний совет, и, по некоторым сведениям, он считал, что два совета, подобно двойному якорю, обеспечат устойчивость государства перед любыми потрясениями. [206]

Вот и все новые политические институты, помимо законов, о которых речь пойдет далее, которые можно с достаточными основаниями приписать Солону, если тщательно отделить то, что действительно принадлежит ему и его эпохе, от афинского государственного устройства в его более поздней, преобразованной форме. Многие авторитетные исследователи греческой истории, включая отчасти даже доктора Тирхвелла [207], часто связывают имя Солона со всей политической и судебной системой Афин в том виде, в каком она существовала между эпохой Перикла и временем Демосфена: с организацией совета пятисот, многочисленными публичными дикастами (судьями-присяжными), избиравшимися по жребию из народа, а также с ежегодно формировавшимся органом для пересмотра законов – номофетами – и процедурой обжалования (графе параномон), позволявшей оспаривать любое предложение как незаконное, неконституционное или опасное.

Действительно, эта путаница между солоновскими и послесолоновскими Афинами отчасти оправдывается тем, как сами ораторы использовали его имя: Демосфен и Эсхин упоминают Солона весьма вольно, приписывая ему учреждения, явно принадлежавшие более поздней эпохе. Например, характерная присяга гелиастов (судей-присяжных), которую Демосфен [208] называет солоновской, сама по себе указывает [стр. 124] на происхождение после Клисфена – хотя бы уже потому, что в ней упоминается совет пятисот, а не четырехсот. Среди граждан, исполнявших обязанности дикастов, Солон почитался как создатель афинских законов вообще, и потому оратор мог использовать его имя для усиления эффекта, не опасаясь, что кто-то станет доискиваться, принадлежал ли конкретный институт самому Солону или более позднему времени.

Многие из учреждений, которые доктор Тирхвелл связывает с именем Солона, представляют собой позднейшие усовершенствования и разработки афинской демократической мысли – постепенно формировавшиеся, несомненно, в период между Клисфеном и Периклом, но в полной мере вступившие в силу лишь во времена последнего (460–429 гг. до н. э.). Ведь трудно представить себе, чтобы многочисленные дикастерии и народные собрания могли действовать регулярно, часто и устойчиво без гарантированной платы дикастам. А такая плата впервые была введена как раз около времени Перикла, если не по его прямому предложению [209]; и Демосфен имел все основания утверждать, что, если бы ее отменили, судебная и административная система Афин немедленно [стр. 125] развалилась бы [210].

Было бы чудом – и для веры в такое чудо потребовались бы неопровержимые доказательства, – если бы в эпоху, когда даже ограниченная демократия еще не была испытана, Солон задумал подобные институты. Еще большим чудом было бы, если бы полуэмансипированные феты и мелкие землевладельцы, для которых он создавал законы, – все еще трепетавшие перед евпатридскими архонтами и совершенно неопытные в коллективной деятельности, – внезапно оказались способны исполнять эти высокие функции, с которыми лишь постепенно, и не без труда, справлялись граждане завоевательных Афин времен Перикла, проникнутые чувством силы и активно отождествлявшие себя с достоинством своего государства.

Предполагать, что Солон предусмотрел периодический пересмотр своих законов, учредив номофетическую коллегию или дикастерию, подобную той, что действовала во времена Демосфена, означало бы, на мой взгляд, игнорировать всякую разумную оценку как самого Солона, так и его эпохи. Геродот сообщает, что Солон, взяв с афинян клятву не отменять его законы в течение десяти лет, покинул Афины на этот срок, чтобы не быть вынужденным отменять их самому. Плутарх же пишет, что он установил срок действия своих законов в сто лет [211]. Сам Солон, как и Драконт до него, были законодателями, призванными и уполномоченными в силу чрезвычайных обстоятельств; идея частого пересмотра законов коллегией дикастов, избранных по жребию, принадлежит куда более поздней эпохе и едва ли могла прийти в голову кому-либо из них. Деревянные доски Солона, подобно скрижалям римских децемвиров [212], несомненно задумывались как постоянный «источник всего публичного и частного права».

Если мы рассмотрим факты данного случая, то увидим, что лишь самое основание афинской демократии, какой она существовала во времена Перикла, можно с достаточным основанием приписать Солону. «Я дал народу, – говорит Солон в одном из своих сохранившихся коротких [стр. 126] фрагментов, [213] – столько силы, сколько было достаточно для его нужд, не увеличивая и не умаляя его достоинства: для тех же, кто обладал властью и был известен своим богатством, я позаботился о том, чтобы для них не было уготовано недостойного обращения. Я стоял, бросив крепкий щит над обеими сторонами, чтобы не допустить несправедливого триумфа ни одной из них».

Вновь Аристотель сообщает нам, что Солон предоставил народу не больше власти, чем было строго необходимо, [214] – избирать своих магистратов и привлекать их к отчетности: если бы у народа было меньше этого, нельзя было бы ожидать, что он останется спокойным, – он оказался бы в рабстве и враждебен конституции. Не менее ясно высказывается Геродот, описывая последующий переворот, осуществленный Клисфеном: последний, по его словам, застал [стр. 127] «афинский народ исключенным из всего». [215] Эти отрывки, кажется, прямо противоречат предположению, само по себе маловероятному, что Солон был автором особых демократических институтов Афин, таких как постоянные и многочисленные дикасты для судебных разбирательств и пересмотра законов. Подлинное и прогрессивное демократическое движение Афин начинается только с Клисфена, с того момента, когда этот выдающийся Алкмеонид – либо добровольно, либо оказавшись побежденным в партийной борьбе с Исагором –

купил ценой значительных уступок народу искреннее сотрудничество массы в крайне опасных обстоятельствах.

Если Солон, по его собственному утверждению, как и по утверждению Аристотеля, дал народу ровно столько власти, сколько было строго необходимо, но не больше, то Клисфен (используя выразительную фразу Геродота), «потерпев поражение в партийной борьбе со своим соперником, взял народ в долю». [216] Таким образом, своим первым допуском к политическому преобладанию афинский народ был обязан интересам более слабой стороны в борьбе соперничающих аристократов – по крайней мере, отчасти, хотя действия Клисфена указывают на искреннее и добровольное народное чувство.

Но такое конституционное признание народа не было бы столь поразительно плодотворным в положительных результатах, если бы ход общественных событий в течение полувека после Клисфена не стимулировал с огромной силой их энергию, их уверенность в себе, их взаимные симпатии и их честолюбие. В будущей главе я расскажу о тех исторических причинах, которые, воздействуя на афинский характер, придали такую эффективность и размах великому демократическому импульсу, переданному Клисфеном: в настоящее время достаточно заметить, что этот импульс начинается, собственно, с Клисфена, а не с Солона.

[стр. 128] Однако Солонова конституция, хотя и являлась лишь основанием, была тем не менее незаменимым фундаментом последующей демократии; и если бы недовольство несчастного афинского населения, вместо того чтобы испытать на себе его бескорыстное и исцеляющее управление, сразу попало в руки корыстных искателей власти, таких как Килон или Писистрат, то памятное расширение афинского ума в течение последующего столетия никогда бы не произошло, и вся последующая история Греции, вероятно, пошла бы иным путем.

Солон оставил основные рычаги государства все еще в руках олигархии, и партийные битвы – о которых будет рассказано далее – между Писистратом, Ликургом и Мегаклом тридцать лет спустя после его законодательства, завершившиеся деспотизмом Писистрата, окажутся того же чисто олигархического характера, какими они были до его назначения архонтом. Но олигархия, которую он установил, сильно отличалась от неограниченной олигархии, которую он застал, столь переполненной угнетением и лишенной средств правовой защиты, как о том свидетельствуют его собственные стихи.

Именно он впервые предоставил как гражданам со средним достатком, так и широким массам возможность противостоять эвпатридам; он позволил народу частично защищать себя и приучил его к идее самозащиты через мирное использование конституционных прав. Новым инструментом, благодаря которому эта защита осуществлялась, стало народное собрание – гелиэя [217], упорядоченное и наделенное [стр. 129] расширенными прерогативами, а также усиленное своим незаменимым союзником – пробулевтическим, или предварительно обсуждающим, советом. В солоновской конституции эта сила была лишь второстепенной и оборонительной, но после реформ Клисфена она стала верховной и суверенной; постепенно она разветвилась в многочисленные народные дикастерии, которые столь сильно изменили как общественную, так и частную жизнь афинян, привлекли к себе безраздельное почтение и подчинение народа и со временем сделали отдельные магистратуры по сути подчиненными органами.

Народное собрание, учрежденное Солоном, действовавшее с умеренной эффективностью и обученное функции пересмотра и оценки общей деятельности уходящего магистрата, представляет собой промежуточную ступень между пассивной гомеровской агорой и всемогущими собраниями и дикастериями, которые слушали Перикла или Демосфена. По сравнению с последними в нем заметна лишь слабая демократическая черта – и потому оно естественно казалось таковым Аристотелю, писавшему с практическим знанием Афин времен ораторов;

но по сравнению с первым или с досолоновским устройством Аттики оно, несомненно, должно было казаться уступкой в высшей степени демократической.

Обязать эвпатридского архонта проходить процедуру избрания или отчитываться перед толпой свободных (именно так выразились бы в среде эвпатридов) было бы горьким унижением для тех, среди кого это впервые вводилось; ведь мы должны помнить, что это была самая масштабная схема конституционной реформы, предложенная к тому времени в Греции, и что весь греческий мир тогда делился между тиранами и олигархиями. Поскольку видно, что Солон, учреждая народное собрание с пробулевтическим советом, не испытывал ревности к ареопагу [стр. 130] и даже расширил его полномочия, можно сделать вывод, что его главной целью было не ослабление олигархии как таковой, а улучшение управления и обуздание злоупотреблений и произвола отдельных архонтов – и притом не путем урезания их власти, а путем установления некоторой степени народного доверия как условия как вступления в должность, так и безопасности и чести после нее.

На мой взгляд, ошибочно полагать, что Солон передал судебную власть архонов народной дикастерии; эти магистраты по-прежнему оставались самостоятельными судьями, выносящими приговоры без апелляции, а не просто председателями собравшегося жюри, каковыми они стали в следующем веке [218]. За общее осуществление этой власти они отчитывались после своего годовичного срока, и эта подотчетность была гарантией от злоупотреблений – весьма ненадежной, но не полностью неэффективной. Однако вскоре станет ясно, что эти архонты, хотя и были сильны в принуждении, а возможно, и в угнетении мелких и бедных людей, не имели средств усмирять мятежных [стр. 131] знатных своего же ранга, таких как Писистрат, Ликург и Мегакл, каждый со своими вооруженными сторонниками. Если мы сравним скрещенные мечи этих честолюбивых соперников, приведшие к тирании одного из них, с яростной парламентской борьбой между Фемистоклом и Аристидом позднее, мирно решаемой голосованием суверенного народа и никогда не нарушавшей общественного спокойствия, мы увидим, что демократия последующего века лучше отвечала условиям как порядка, так и прогресса, чем солоновская конституция.

Различать эту солоновскую конституцию и последовавшую за ней демократию необходимо для верного понимания прогресса греческого сознания, особенно в афинских делах. Та демократия была достигнута постепенно, и ее этапы будут описаны далее: Демосфен и Эсхин жили при ней как при завершенной системе, полной активности, когда стадии ее предыдущего роста уже не сохранялись в точной памяти; и дикасты, собиравшиеся тогда для суда, были рады слышать, что конституция, к которой они были привязаны, отождествляется либо с именем Солона, либо с именем Тесея, к которым они питали не меньшую слабость. Их любознательный современник Аристотель не заблуждался так; но даже самые заурядные афиняне предшествующего века избежали бы той же иллюзии.

Ибо на протяжении всего хода демократического движения от Персидского нашествия до Пелопоннесской войны, и особенно во время перемен, предложенных Периклом и Эфиальтом, всегда существовала стойкая партия сопротивления, которая не позволяла народу забыть, что они уже отошли и готовы отойти еще дальше от пути, намеченного Солоном. Великий Перикл подвергался бесчисленным нападкам как со стороны ораторов в собрании, так и со стороны комических поэтов в театре; и среди этих сарказмов по поводу политических тенденций времени, вероятно, стоит упомянуть жалобу поэта Кратина на то, что Солон и Драконт были преданы забвению. «Клянусь, [219] – говорил он во фрагменте одной из своих комедий, – Солоном и Драконтом, чьи деревянные таблицы (законов) теперь используются людьми для поджаривания ячменя».

Законы Солона об уголовных преступлениях, о наследовании и усыновлении, о частных отношениях и т. д. по большей части оставались в силе; его четырехразрядный ценз также сохранялся, по крайней мере для финансовых целей, вплоть до архонства Навсиника в 377 г.

до н. э.; так что Цицерон и другие могли с основанием утверждать, что его законы все еще действовали в Афинах. Но его политические и судебные установления претерпели революцию [220], не менее полную и значительную, чем характер и дух афинского народа в целом.

Выбор архонтов и других магистратов по жребию, а также распределение по жребию общего корпуса дикастов или присяжных на панели для судебных разбирательств определенно не принадлежали Солону, а были приняты после реформы Клисфена [221]; вероятно, по жребию избирались и советники. Жребий был признаком выраженного демократического духа, которого не следует искать в солоновских учреждениях.

Трудно точно определить, каково было политическое положение древних родов и фратрий в том виде, в каком их оставил Солон. Четыре племени полностью состояли из родов и фратрий, так что никто не мог принадлежать ни к одному из племён, не будучи одновременно членом какого-либо рода и фратрии. Новый пробулевтический (предварительно совещательный) совет состоял из четырёхсот членов – по сто от каждого племени: лица, не [р. 133] входившие ни в один род или фратрию, не могли, следовательно, получить в него доступ. Условия избрания были аналогичными, согласно древнему обычаю, и для девяти архонтов – а значит, и для ареопага. Таким образом, оставалось только народное собрание, в котором афинянин, не принадлежавший к этим племенам, мог участвовать. Тем не менее он был гражданином, поскольку мог голосовать за архонтов и членов совета, участвовать в ежегодной проверке их отчётности, а также лично обращаться к архонтам за защитой от несправедливости, – тогда как иностранец мог делать это лишь через посредничество гражданина-покровителя (простата). Следовательно, все лица, не входившие в четыре племени, независимо от их имущественного положения, обладали теми же политическими правами, что и беднейший, четвёртый класс по солоновскому цензу. Уже отмечалось, что ещё до Солона число афинян, не принадлежавших к родам или фратриям, было, вероятно, значительным, и оно продолжало расти, поскольку эти объединения были замкнутыми и не расширялись, в то время как политика нового законодателя способствовала привлечению в Афины трудолюбивых переселенцев из других частей Греции. Такое значительное и усиливавшееся неравенство в политических правах помогает объяснить слабость правительства в противодействии узурпации Писистрата и показывает важность реформы, осуществлённой впоследствии Клисфеном, когда он упразднил (в политических целях) четыре старых племени и создал вместо них десять новых, более всеобъемлющих.

Относительно устройства совета и народного собрания, как их организовал Солон, у нас нет никаких сведений. Также рискованно переносить на солоновскую конституцию сравнительно подробные данные, которые мы имеем об этих органах при позднейшей демократии.

Законы Солона были записаны на деревянных цилиндрах и треугольных табличках (кирбях) письмом, называемым бустрофедон (строки шли сначала слева направо, затем справа налево, подобно движению пахаря), и первоначально хранились в акрополе, а позже – в пританее. На табличках (кирбях) были в основном зафиксированы законы, касающиеся священных обрядов и жертвоприношений: [222] на столбах или цилиндрах, которых было [р. 134] не менее шестнадцати, помещались предписания по светским делам. До нас дошли лишь незначительные фрагменты, а ораторы приписали Солону так много из того, что на самом деле относится к более поздним временам, что почти невозможно составить критическое суждение о его законодательстве в целом или понять, какими общими принципами или целями он руководствовался.

Он оставил без изменений все прежние законы и обычаи, касающиеся убийства, поскольку они были тесно связаны с религиозными чувствами народа. Таким образом, законы Драконта по этому вопросу сохранились, но, по словам Плутарха, по всем остальным они были полностью отменены: [223] однако есть основания предполагать, что отмена не могла быть столь всеобъемлющей, как это представляет биограф.

Солоновы законы, по-видимому, затрагивали в большей или меньшей степени все основные сферы человеческих интересов и обязанностей. Мы находим среди них политические и религиозные, публичные и частные, гражданские и уголовные, торговые, сельскохозяйственные, сумptуарные и дисциплинарные установления. Солон устанавливает наказания за преступления, ограничивает профессии и статус гражданина, предписывает детальные правила как для брака, так и для погребения, для общего пользования источниками и колодцами, а также для взаимных интересов соседних землевладельцев при ограждении или посадках на своих участках. Насколько можно судить по фрагментарным данным, дошедшим до нас, в его законах не прослеживается попытки систематизировать или классифицировать их. Некоторые представляют собой лишь общие и расплывчатые предписания, в то время как другие, напротив, вдаются в крайнюю степень детализации. [р. 135]

Безусловно, самым важным из всех было изменение закона о должниках и кредиторах, о котором уже упоминалось, а также отмена права отцов и братьев продавать своих дочерей и сестер в рабство. Запрет всех договоров, обеспечивавшихся личной свободой, сам по себе был достаточен для значительного улучшения характера и положения беднейшего населения – результат, который, судя по всему, так явно проистекал из законодательства Солона, что Бёк и некоторые другие выдающиеся авторы предполагают, будто он отменил крепостное право и даровал бедным арендаторам собственность на их земли, аннулировав сеньориальные права землевладельцев. Однако это мнение не подкреплено никакими прямыми доказательствами, и у нас нет оснований приписывать ему более радикальные меры в отношении земли, кроме отмены прежних залоговых обязательств. [224]

Первый столп его законов содержал постановление относительно экспортируемой продукции. Он запретил вывоз всех продуктов аттической почвы, за исключением одного лишь оливкового масла, а санкция, применявшаяся для обеспечения соблюдения этого закона, заслуживает внимания как иллюстрация представлений того времени: архонт был обязан под угрозой штрафа в сто драхм произносить торжественные проклятия против каждого нарушителя. [225] Вероятно, это запрещение следует рассматривать в связи с другими целями, которые, как утверждается, преследовал Солон, особенно с поощрением ремесленников и производителей в Афинах. Как сообщается, заметив, что многие новые переселенцы как раз тогда стекались в Аттику в поисках убежища из-за её большей безопасности, он стремился направить их скорее к промышленной деятельности, чем к возделыванию от природы бедной почвы. [226] Он запретил предоставлять гражданство любым переселенцам, кроме тех, кто безвозвратно покинул прежние места проживания и прибыл в Афины для занятия каким-либо производительным ремеслом; а чтобы предотвратить праздность, он предписал ареопагу наблюдать за жизнью граждан в целом и наказывать каждого, у кого не было постоянного труда для обеспечения себя. Если отец не обучил сына какому-либо ремеслу или профессии, Солон освобождал сына от обязанности содержать его в старости. И именно для поощрения умножения числа таких ремесленников он обеспечил (или стремился обеспечить) жителям Аттики монополию на все продукты земли, кроме оливкового масла, которого производилось в избытке, более чем достаточно для их нужд. Он желал, чтобы торговля с иностранцами велась путем экспорта продукции ремесленного труда, а не продуктов земли. [227]

Этот торговый запрет основан на принципах, в сущности схожих с теми, которыми руководствовались в ранней истории Англии в отношении как зерна, так и шерсти, а также в других европейских странах. Поскольку он вообще имел какое-то действие, он способствовал уменьшению общего количества продукции, производимой на земле Аттики, и тем самым удерживал её цену от роста – цель менее спорная (если допустить, что законодатель вообще должен вмешиваться), чем цель наших недавних Хлебных законов, которые были призваны не допустить падения цен на зерно. Однако закон Солона, должно быть, оставался совершенно неэффективным в отношении основных предметов человеческого пропитания; ведь Аттика ввозила

в больших количествах и постоянно зерно и соленые продукты, вероятно, также шерсть и лён для прядения и ткачества женщин и, несомненно, строевой лес. Можно сомневаться, применялся ли этот закон когда-либо к фидам и меду; по крайней мере, в более поздние времена эти продукты Аттики повсеместно потреблялись и славились по всей Греции. Вероятно также, что во времена Солона серебряные рудники Лавриона едва ли начали разрабатываться: впоследствии они стали весьма продуктивными и обеспечили Афины товаром для внешних платежей, не менее удобным, чем доходным. [228]

Интересно отметить стремление как Солона, так и Драконта привить своим согражданам трудолюбивые и самостоятельные привычки [229]; позже мы увидим, что те же идеи провозглашал Перикл в период наивысшего могущества Афин. Нельзя обойти вниманием и это раннее проявление в Аттике справедливого и терпимого отношения к оседлым ремёслам, которые в большинстве других регионов Греции считались сравнительно недостойными. Общий тон греческого общественного мнения признавал полностью достойными свободного гражданина лишь занятия, связанные с военным делом, земледелием, атлетическими и музыкальными упражнениями; действия спартанцев, которые избегали даже земледелия, поручая его илотам, вызывали восхищение, хотя и не могли быть воспроизведены в большей части эллинского мира. Даже такие умы, как Платон, Аристотель и Ксенофонт, в значительной степени разделяли это мнение, оправдывая его тем, что сидячий образ жизни и непрерывная домашняя работа ремесленника несовместимы с военной подготовкой: городские занятия обычно обозначались словом, несущим презрительный оттенок, и, хотя признавались необходимыми для существования города, считались подходящими лишь для низшего и полупривилегированного класса граждан. Это общепринятое мнение [стр. 138] среди греков, как и среди иностранцев, встретило сильное и растущее противодействие в Афинах, как я уже отмечал, – что подтверждается схожими настроениями в Коринфе [230].

Торговля Коринфа, как и Халкиды на Эвбее, была обширной в то время, когда афинская торговля едва существовала. Однако если деспотизм Периандра едва ли способствовал развитию промышленности в Коринфе, то современное ему законодательство Солона обеспечило торговцам и ремесленникам новый дом в Афинах, впервые поощрив рост городского населения как в самом городе, так и в Пирее, которое мы видим там в следующем веке. Увеличение числа таких городских жителей, как граждан, так и метеков (неполноправных лиц), стало ключевым фактором в продвижении Афин вперёд, поскольку оно определило не только расширение её торговли, но и преобладание её военно-морских сил – а следовательно, придало дополнительную силу её демократическому правительству. Кроме того, это стало отходом от изначального духа аттицизма, который тяготел к кантонному проживанию и сельским занятиям. Поэтому тем интереснее отметить первое упоминание об этом как о следствии законодательства Солона.

Солону впервые принадлежит заслуга введения в Афинах права завещательного распоряжения имуществом во всех случаях, когда у человека не было законных детей. Согласно ранее существовавшему обычаю, можно предположить, что если умерший не оставлял ни детей, ни кровных родственников, его имущество переходило, как в Риме, к его роду и фратрии [231]. В большинстве неразвитых обществ завещательная свобода была неизвестна – как у древних германцев, у римлян до законов XII таблиц, в древних законах индусов [232] и т. д. Общество ограничивало интерес человека или его право на [стр. 139] пользование имуществом сроком его жизни и считало, что его родственники имеют совместные права на наследство, которые вступают в силу после его смерти в определённых пропорциях; и такая точка зрения тем более вероятна для Афин, поскольку сохранение семейных священных обрядов, в которых дети и близкие родственники участвовали по праву, рассматривалось афинянами как вопрос как общественного, так и частного значения. Солон разрешил каждому человеку, умирающему без детей, завещать своё имущество по своему усмотрению, и завещание имело силу, если только не было доказано, что оно было составлено под принуждением или обманным путём.

В целом это оставалось законом на протяжении всей исторической эпохи Афин. Сыновья, если они были, наследовали имущество отца в равных долях, с обязательством выдать своих сестёр замуж с определённым приданым. Если сыновей не было, то наследовали дочери, хотя отец мог по завещанию, в определённых пределах, назначить человека, за которого они должны выйти замуж, с прикрепленными к ним правами наследования; или же, с согласия дочерей, мог распорядиться своим имуществом иным образом. Человек, не имевший детей или прямых потомков, мог завещать своё имущество по своему желанию: если он умирал без завещания, сначала наследовал его отец, затем брат или дети брата, далее – сестра или дети сестры; если таковых не было, то двоюродные родственники по отцовской линии, затем по материнской – при этом мужская линия имела приоритет над женской. Таков был принцип солоновых законов о наследовании, хотя детали во многом остаются неясными и спорными [233].

Солон, по-видимому, первым предоставил право завещанием отменять права агнатов и членов рода на наследство – шаг, соответствующий его плану поощрения трудолюбивых заня [стр. 140] тий и, как следствие, увеличения индивидуальных накоплений [234].

Уже упоминалось, что Солон запретил отцам или братьям продавать дочерей или сестёр в рабство – запрет, который показывает, насколько женщины прежде рассматривались как предмет собственности. И, по-видимому, до его времени насилие над свободной женщиной каралось по усмотрению магистратов, поскольку нам говорят, что он первым установил штраф в сто драхм для насильника и двадцать драхм – для соблазнителя свободной женщины. [235] Более того, говорят, что он запретил невесте приносить с собой в брак какие-либо личные украшения и принадлежности, за исключением трёх одежд и некоторых предметов обстановки не слишком большой ценности. [236]

Солон также наложил на женщин ряд ограничений в отношении погребальных обрядов умерших родственников: он запретил чрезмерные проявления скорби, исполнение сложных плачей, а также дорогостоящие жертвоприношения и пожертвования; он строго ограничил количество еды и питья, допустимое на поминальной трапезе, и запретил ночные выходы, кроме как в повозке и со светильником. Кажется, что как в Греции, так и в Риме чувство долга и привязанности со стороны оставшихся в живых родственников толкало их на разорительные расходы на похороны, а также на неумеренные излияния как горя, так и веселья; и общая необходимость вмешательства закона подтверждается замечанием Плутарха, что подобные запреты, введенные Солоном, действовали и в его родном городе Херонее. [237]

[стр. 141] Следует упомянуть и другие уголовные постановления Солона. Он абсолютно запретил злословие в адрес умерших, а также в адрес живых – будь то в храме, перед судьями или архонтами, или на любом публичном празднестве – под угрозой штрафа в три драхмы в пользу потерпевшего и ещё две – в государственную казну. Насколько мягким был в целом характер его наказаний, можно судить как по этому закону против сквернословия, так и по упомянутому ранее закону против насилия: оба этих преступления карались значительно строже по последующему законодательству демократических Афин. Безусловный запрет на злословие в адрес умершего, хотя, несомненно, проистекал в значительной степени из бескорыстного отвращения, отчасти также объясняется страхом перед гневом усопших, который сильно владел ранним греческим сознанием.

Кажется, что в целом Солон установил законом расходы на публичные жертвоприношения, хотя мы не знаем его конкретных предписаний: нам говорят, что он приравнивал овцу и медимн (пшеницы или ячменя?) к одной драхме, а также установил цены на первосортных быков, предназначенных для торжественных случаев. Но нас поражает крупное вознаграждение, которое он назначил из государственной казны победителю Олимпийских или Истмийских игр: первому – пятьсот драхм, что равнялось годовому доходу высшего из четырёх имущественных классов по цензу; второму – [стр. 142] сто драхм. Величина этих наград поражает ещё больше, если сравнить их со штрафами за насилие и злословие; и неудивительно, что фило-

соф Ксенофан отметил с некоторой суровостью завышенную оценку этого вида достижений, распространённую среди греческих городов. [238] В то же время мы должны помнить, что эти общегреческие священные игры представляли главное видимое свидетельство мира и взаимопонимания среди многочисленных общин Греции, а во времена Солона искусственное поощрение ещё было необходимо для их поддержания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.